

ИННОКЕНТИЙ
БЕЛОВ

ГРЕЙ
КОВАЧ

БИЛЕТ ДО КОНЕЧНОЙ

ПОЕЗД В СОБИБОР



Иннокентий Белов

**Билет до конечной.
Поезд в Собибор**

«Автор»

2026

Белов И.

Билет до конечной. Поезд в Собибор / И. Белов — «Автор»,
2026

В 1943 году поезд идёт в Собибор, везя две тысячи обречённых, среди которых Александр Печерский, будущий организатор восстания в лагере смерти. В офицерском купе в это же время приходит в себя советский следователь, оказавшийся в теле эсэсовца и знающий будущее. До конечной остаётся сорок минут, там первые восемь сотен узников из минского гетто сразу же отправятся в газовую камеру, поэтому раздумывать некогда. Решив спасти эшелон, наш герой сходит с рельсов истории... В основу романа положен реальный подвиг советского офицера Александра Ароновича Печерского — организатора восстания в лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года.

© Белов И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3	22
Глава 4	31
Глава 5	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Грей Ковач, Иннокентий Белов

Билет до конечной. Поезд в Собибор

Глава 1

Меня зовут Алексей Николаевич Руднев, мне восемьдесят шесть лет, последние сорок из них я хожу на выставки о войне так, как другие ходят на кладбище проводить родных.

Я хожу проводить своих знакомых преступников и проверить, все ли таблички правильно расставлены на месте.

Сегодняшняя выставка называется «Альбом преступника». Молоденькая сотрудница музея ведёт меня под локоть по залу и говорит, что для них мой визит большая честь.

Ведь я основной консультант, который занимался подобным делом ещё тогда, когда никакого альбома в помине не существовало. Когда существовали только протоколы, показания выживших и три мутные фотографии из служебного личного дела.

Я киваю, потому что кивать легче, чем объяснять, что честь тут ни при чём. Я пришёл посмотреть в лицо человеку, которого искал всю жизнь и который погиб, когда мне было девять.

Если, конечно, верить официальным документам. Документам я не верю с тысяча девятьсот шестьдесят второго года. С того самого дня, когда лично снял отпечатки пальцев у «погибшего под Кёнигсбергом» шарфюрера СС, торговавшего пивом в Гамбурге под фамилией покойного шурина.

Иоганн Ниманн, комендант лагеря смерти Собибор. Убит четырнадцатого октября сорок третьего года восставшими узниками первым из офицеров обычным плотничьим топором. Убит в портновской мастерской, куда пришёл примерять кожаную куртку, отнятую у заключённого.

«Красивая смерть, незаслуженно красивая для негодяя, в ней есть сюжет, а он не заработал даже сюжета».

Я знаю о нём всё, что можно узнать из бумаг. Программа умерщвления инвалидов, когда учился убивать на самых беззащитных, как все они. Белжец, потом Собибор. Подпись на актах, аккуратный почерк, представление к очередному званию за, цитирую, «особые заслуги» перед рейхом. Из бумаг человек выходит плоским, как сама бумага, все сорок лет я держал в голове плоского Ниманна, как какую-то функцию с усами.

Зато теперь на стенах висит его семейный альбом, который наследники передали музею, поэтому функция обрастает мясом и кожей.

Вот он верхом на гнедой лошади, сама посадка любительская, но старательная, спина прямая, фуражка чуть набок. За его плечом видна рампа лагеря, куда приходили поезда смерти. Вот он на террасе офицерского казино, в руке кофейная чашка, даже по тому, как оттопырен мизинец, ясно, что человек старательно следил за манерами. Вот он дома, в служебном отпуске, жена, двое детей, штaketник, увитый плющом, у ног собака. Хорошая семья, любительский снимок чуть смазанный, потому что младший сын вертелся.

Вот он смеётся по-настоящему, с зажмуренными глазами, с запрокинутой головой, рядом смеются ещё трое.

У одного из троих я в шестьдесят восьмом принимал показания в западногерманской тюрьме, где тот отбывал четыре года за соучастие в убийстве двухсот пятидесяти тысяч человек. По сто семьдесят убитых на каждый день срока, так я тогда посчитал.

«Арифметика — вредная привычка следователя».

Сотрудница музея что-то говорит на немецком про уникальность материала, про то, что подобные альбомы разрушают миф о «монстрах» и показывают банальность зла. Девочка видно, что умная, старательно читала правильные книги.

Я не спорю, я вообще давно не спорю, жена умерла девять лет назад, дочь звонит из Новосибирска по воскресеньям, внуки присылают фотографии правнуков. На споры у меня осталось слишком мало собеседников и слишком мало пульса.

Я стою перед смеющимся Ниманном и чувствую, как в левой стороне груди поворачивается незримый ключ.

Не страх, не гнев даже, ведь за гневом я слежу с той же аккуратностью, с какой Ниманн следил за своими манерами. Иначе в нашей работе нельзя, потому что гнев слишком сильно путает почерк.

Здесь другое. Простая, холодная, старческая обида на несправедливое устройство мира.

«Он пил кофе, он гладил лошадь. Он смеялся с зажмуренными глазами в трёхстах метрах от газовой камеры, теперь никакой суд, никакой топор, никакая моя жизнь, потраченная на архивы, не отменит того, что ему было хорошо. Ему было хорошо, на фотографии такое видно лучше всего».

Ключ в груди доворачивается до упора.

Пол наклоняется мягко, как палуба сильно качающегося корабля. Нужные таблетки в левом кармане пиджака, рука знает дорогу, но рука просто не успевает туда добраться. Сотрудница вскрикивает где-то очень далеко и очень тонко, голоса сливаются в общий гул, свет сужается в круг, в этом круге остаётся последнее, что я вижу в своей жизни.

Он смеётся...

Стучат колёса.

Стучат на стыках двойным ударом, с оттяжкой, как стучали всю мою жизнь и никогда не значили ничего, кроме дороги.

Железной дороги.

Сейчас я слушаю их, не открывая глаз, потому что с закрытыми глазами ещё можно считать с большим основанием, что подо мной каталка. Что меня везут по больничному коридору, просто колеса каталки стучат по неровным стыкам пола, что сейчас будет потолок в известке и лицо врача.

Потом я понимаю, что мне не больно.

Вот такое по-настоящему страшно. Восемьдесят шесть лет, тот возраст, когда тело разговаривает с тобой непрерывно всем подряд. Коленом, поясницей, левой стороной груди, где сорок лет живёт жаба и давит, когда ей только вздумается. Тело ворчит, ноет, напоминает о себе, ты привыкаешь к подобному разговору, как к радио на кухне. Но сейчас оно как-то слишком подозрительно молчит. Молчит целиком, от затылка до пяток, в подобном молчании слышно такое здоровье, какого я не помню с курсантских времён.

Открываю глаза.

Потолок не больничный. Низкий, крашеный, с жестяным плафоном лампы, которая покачивается в такт стыкам и гоняет по стенам жёлтый круг света. Стены обшиты аккуратной деревянной рейкой.

«Окно затянуто чёрной шторой, явно реальная светомаскировка», — отмечает кто-то внутри меня раньше, чем я успеваю подумать подобное слово.

Полка напротив, столик у окна, на столике стоит портфель, фуражка и стакан в подстаканнике, но подстаканник явно не наш, незнакомо витой, с чужим вензелем.

Сажусь, тело выполняет подъем одним движением, без какой-то подготовки, без всяких предварительных переговоров. Просто берёт и садится, от лёгкости моего движения меня мутит сильнее, чем от любой боли.

Руки?

Смотрю на свои руки, но это не мои руки. Мои в пигментных пятнах, с раздутыми суставами, с ногтем на большом пальце, треснувшим ещё в Караганде в пятьдесят девятом и навсегда криво сросшемся. Эти ладони молодые, ровные, с коротко и чисто стриженными ногтями, с бледной полоской от кольца на безымянном. Ухоженные руки человека, который работает головой и еще своей подписью.

На рукаве — серо-зелёное сукно. На обшлага чёрная лента, по ленте серебром вышито готическими буквами слово, которое я читал в делах тысячу раз. От которого у меня до сих пор, до сих пор через шестьдесят лет, холодеет затылок.

Зондеркоманда «Собибор».

Дальше я действую не потому, что внятно понимаю происходящее, а потому, что сорок лет службы отрастили во мне второго человека, этот второй просыпается всегда первым. Он не задаёт вопросов «как» и «почему», он задаёт вопросы «где», «когда» и «что у противника». Философией займёмся позже, если оно еще будет, это самое «позже».

Китель на мне расстёгнут, потому что спал одетым, из-за такого воротник немного примят. В правом нагрудном кармане лежит удостоверение. Достая и разворачиваю его к свету лампы.

С фотографии на меня смотрит человек с выставки.

СС-унтерштурмфюрер Иоганн Ниманн. Дата рождения — четвертое августа тринадцатого года. Печать, подпись, отметки. Я держу документ ровно, не дрожащей рукой, потому что рука вообще не дрожит, у этой руки прекрасные нервы. Потом поднимаю взгляд на чёрное стекло окна, где поверх шторной щели плавает мое отражение.

«Из стекла на меня смотрит он же!» — такое придется признать.

Молодой, волосы зачёсаны назад, примяты сном с одного бока. Правильное, даже приятное лицо, вот что самое поганое. Лицо у него приятное, такому лицу продавщицы взвешивают без очереди по первой просьбе. Я поднимаю руку, мое отражение поднимает руку. Открываю рот, оно открывает рот.

В детстве, в оккупацию, я видел, как соседка тронулась умом после того, как у неё на глазах повесили мужа, тогда он попал в число заложников. Она подходила к зеркалу и здоровалась сама с собой. Теперь я понимаю её лучше, чем хотелось бы.

— Значит, так, — говорю я себе. — Значит, так.

Либо я умираю на полу музейного зала, сейчас проходит просто последний фейерверк коры головного мозга. Но тогда торопиться совсем некуда, поэтому просто досмотрим представление.

Либо я сошёл с ума, тогда торопиться тем более некуда, в жёлтом доме расписание вполне щадящее.

Либо, тут второй человек во мне поднимает палец, либо это правда, тогда времени у меня чудовищно мало.

Потому что поезд идёт, а поезда данного преступного сообщества ходили только в одну сторону. Возвращались с живым товаром к месту уничтожения или еще только ехали за ним.

— Проверяется такое просто.

За стеной, уже не в моем купе, дальше через тамбур, через грохот колес живут звуки. Прикрываю глаза и разбираю их, как разбирал когда-то плёнки прослушки, очень тонкими слоями.

Верхний слой — колёса. Под ним слышна немецкая речь, двое, лениво, со смешком, но слов не разобрать. Зато интонацию разобрать можно, обычная скука конвоя, разговор о бабах или о жратве. Ещё ниже слышна собака, крупная, влаивает коротко, именно по служебному. А в самом низу, подо всем подобным слышен звук, который я слышал только в показаниях свидетелей десятки раз, пусть разными словами, но все слова были про одно.

Стучат в стены вагонов. Глухо и вразнобой из-за перегона кулаками и ладонями там впереди, в этом же составе. Люди в запертых товарных вагонах стучат в стены, подобный звук не похож ни на что на свете, потому что в нём нет ритма. Ритм есть у надежды, здесь просто ладони бьют о толстые доски.

«Их везут без еды и почти без воды, потому что незачем больше кормить!» — вспоминаю я логику нацистов.

Мне девять лет, оккупация, станция Клинцы. Мимо нашего забора гонят колонну пленных, мать выносит к дороге хлеб. Полбуханки, всё, что есть в доме, но не успевает даже добросить. Я помню, как она лежала у забора до вечера, потому что подходить не разрешали. Еще помню конвоира, который потом попросил у соседей молока и сказал «данке». Вежливый был человек. Я искал его четырнадцать лет после войны, только не нашёл, не дожил он до меня. Легко умер своей смертью в собственной постели, до сих пор единственное дело, которое я считаю навсегда проигранным.

Открываю глаза.

«Всё, вопрос снят, кора головного мозга такого не сочиняет, явно у неё вкус получше», — дальше работаю быстро и по порядку, как учили, сначала документы, карта, время, силы сторон.

Портфель на столике не заперт, уже спасибо. Внутри все аккуратно по-немецки разложено, папка с перепиской, вторая папка — сопроводительные документы транспорта, бланки с орлом, копия телеграммы. Читаю по диагонали, выхватываю главное. Транспорт из Минска, почти две тысячи человек. Охрана — конвойная команда при эшелоне плюс вахманы, численность прописью, старший конвоя — унтершарфюрер Грот.

«Тоже СС, значит. Наверно, большинство из лагеря Травники, где они обучались охране и массовым убийствам».

Станция назначения обозначена невинно, просто тупиковой веткой, но мне не надо ее даже расшифровывать. Я знаю данную ветку наизусть, я по ней пальцем по карте водил ещё тогда, когда нынешние музейщики не родились.

Собибор.

И еще есть дата на телеграмме. Двадцать третье сентября тысяча девятьсот сорок третьего.

Вот теперь мне нужно сесть, я сразу сажусь, потому что ноги, молодые, здоровые, отличные ноги вдруг решают, что с них хватит.

Минский транспорт. Сентябрь сорок третьего. В этом поезде едет Печерский.

Я знаю этот эшелон, как знают старую квартиру, знаю на ощупь, в полной темноте. Я собирал его по крупницам двадцать лет — показания, списки, немецкие путевые документы. Потому что через три недели после этого поезда случится одно из самых успешных восстаний в лагере смерти за всю войну. Поднимет его именно лейтенант Красной армии Александр Аронович Печерский. Который сейчас, вот прямо сейчас, стоит или сидит в темноте товарного вагона за две стенки от меня и ещё не знает, что когда-то войдёт в учебники.

Зато я знаю, ведь именно с ним пил чай в Ростове в семьдесят втором. У него было сухое лицо и спокойные руки, на мой вопрос, как он решился, он пожал плечами и сказал:

— А что, было из чего выбирать?

Смеюсь. Коротко, один раз, зато звук собственного смеха, пусть даже чужого из чужой груди, обрывает меня лучше пощёчины.

Так, теперь инвентаризация. Что у меня есть?

Есть тело тридцати лет, здоровое, сильное, не моё. Есть лицо и мундир, при виде которого охрана этого поезда вытягивается, а люди в вагонах, если бы видели, то понимали бы, что едут правильно по расписанию в свою неизбежную смерть.

Есть удостоверение коменданта лагеря, есть портфель с подлинными печатями, есть кобура. Расстёгиваю ее, вижу вальтер Р38, магазин полный, очень ухожен, хозяин любил оружие. Есть язык, немецкий у меня с детства и на всю жизнь, спасибо оккупации и особому факультету, акцент восточнопрусский, хорошо поставленный, любой преподаватель бы прослезился.

Во внутреннем кармане кителя нащупал бумажник. Тут фотография, молодая женщина со строгим пробором, двое детей, штaketник, собака. Та самая карточка, я видел её под стеклом, с инвентарным номером музея, за час и за восемьдесят шесть лет до этой минуты.

Еще есть начатое письмо, сложенное вчетверо:

«Дорогая моя...» и дальше три строки о погоде и посылке. Почерк ровный, с наклоном, заглавные с завитком. Кладу письмо на столик и трижды расписываюсь на обороте телеграммы, глядя на его подпись в удостоверении. Со второго раза получается похоже, с третьего — уже хорошо.

«Профессия, товарищи, не пропивается».

Чего у меня нет?

Нет никакой памяти этого тела. Я не знаю, как Ниманн здороваётся с конвоем, курит ли он, какой рукой бреется, кто из охраны с ним запанибрата и о чём он шутил вчера вечером с тем же унтершарфюрером Гротом. То есть Ниманн шутил, а шарфюрер обязательно смеялся. Каждый человек в этом поезде знает Ниманна лучше меня. Любой разговор длиннее трёх фраз для меня минное поле. И ведь совсем нет времени, судя по документам и по ходу состава, до того узла, где эшелон заворачивают на лагерную ветку, остаётся всего ничего.

Сколько именно — пока не знаю, вот где сейчас главная дыра в планируемой мной обороне.

И ещё у меня нет права на первое, что просится в руку.

Ведь просится вальтер, честно скажу, очень просится. Сажу на жёсткой банкетке в форме преступной конторы, в коже человека, чьи фотографии висят в музее моей смерти. Поэтому самый простой, самый чистый выход лежит в кобуре и весит восемьсот граммов. Одно только решительное движение и никакого Ниманна больше нет, выйдет в расход досрочно, с опережением графика на три недели.

Стук из вагонов проходит сквозь стены. Ладони о доски, без ритма.

Убираю руку от кобуры.

«Дёшево, товарищ Руднев. Прибить Ниманна успеют без тебя, его очередь, между прочим, уже расписана судьбой. Портновская мастерская, пожарный топор, всё согласовано историей», — напоминаю себе.

И вот на слове «историей» я спотыкаюсь, поэтому следующие полминуты сажу неподвижно. Потому что арифметика, вредная моя привычка, разворачивает передо мной задачу целиком, во всей её мерзости.

Смотрите, что получается. Через три недели в этом лагере случится восстание, редчайшее в своём роде и одно из самых успешных, я знаю его наизусть час за часом. Поднимет его человек, который едет сейчас за несколько стенок от меня. Лагерь после восстания немцы несут, просто сровняют с землей, засадят соснами, максимально спрячут. Потому что машина уничтожения, о которой настолько хорошо узнали, работать уже не может. То есть в той истории, которую я помню, данный поезд вскоре въезжает в ад, но через три недели ад закрывается навсегда, оплаченный жизнями тех, кто въехал.

«Если теперь я останавливаю поезд? Спасаю на какое-то время от уничтожения две тысячи жизней и что я делаю этим же движением?»

Я вынимаю из лагеря будущее восстание. Печерский не войдёт в ворота, лагерное подполье не получит командира, поэтому четырнадцатое октября не наступит. Лагерь, который должен был умереть через три недели, тогда останется жить. Хорошо отлаженный, работающий,

голодный, поэтому следующие эшелоны, которые уже стоят под погрузкой где-то на запасных путях Европы или СССР, пойдут в его расписание как ни в чём не бывало. Я спасу на время этих людей, но распишусь за смерть тех. Поимённо не узнаю никогда, но расписка будет тогда именно моя.

«В Собиборе уничтожат не четверть миллиона людей, а триста тысяч? Четыреста тысяч? Или половину миллиона?»

Вот она, настоящая цена вмешательства, никто мне её не скидывает. Любое действие здесь кого-то обрекает на мучительную смерть. Бездействие, впрочем, тоже, просто у бездействия почерк гораздо неразборчивей, удобно потом не узнавать своей руки. Подобным фокусом я сыт по горло, ведь сорок лет читал показания людей, которые «Просто ничего не сделали. Просто выполняли приказ».

Значит, задача ставится иначе. Не только «спасти эшелон». Спасти эшелон и взять на себя вторую половину работы, ту, которую я подобным спасением отменяю. Лагерь всё равно должен умереть, только раньше его убивали изнутри те, кого привезли. Ценой, о которой я читал с сухими глазами только потому, что следователю положены сухие глаза.

— Теперь очередь моя. Я заберу у истории этот поезд и верну ей долг лагерем.

Открыть вагоны поезда Ниманн может один-единственный раз в жизни, только сегодня, пока он живой, комендант лагеря и в нужном звании. Но подобной возможности данной мрази история не дала.

— Тогда дадим мы.

Но потом я вернусь, этим же лицом, по этой же ветке и навсегда закрою Собибор. Не через три недели чужими руками, теперь только своими новыми. И ещё гораздо раньше.

— Это не решение сцены, товарищ Руднев, запомни его правильно, это теперь твоя работа на войне. Вся, целиком, отсюда и до конца.

Прежде, чем строить какой-то первоначальный план, проверяю свой главный инструмент. Надеваю фуражку, четко по глазам, чуть набок, как на той фотографии с лошадьё, и уверенно выхожу в коридор служебного вагона.

В ближайшем тамбуре курит зевающий вахман из «травников», на нем чёрная форма, карабин за спиной, у него типичное круглое славянское лицо. Он именно из тех, кого зондеркоманда набирает по лагерям военнопленных, предлагая сменить постоянный голод, побои и безысходность на сытность, небольшую власть, руки по локоть в крови и настоящий карабин. Он сразу слышит открывшуюся дверь и видит меня, зато я тоже успеваю рассмотреть весь его путь от расслабившегося на долгом дежурстве часового до мгновенно преисполнившегося служебного рвения маленького человека.

Сигарета летит за дверь, спина каменеет, подбородок взлетает вверх, а в глазах — совсем не уважение к господину офицеру, совсем нет.

Там виден только страх, чистый и без примесей, отработанный страх человека, который видел, что бывает с теми, на кого мое лицо посмотрело внимательно.

Я смотрю на него ровно три секунды. Не потому, что мне что-то нужно от вахмана, а потому, что мне нужно знать, как все подобное работает.

«Работает быстро и безотказно, к концу третьей секунды у него дёргается кадык», — вижу сразу я.

— Weiter machen, — роняю я и возвращаюсь в купе.

Вот, значит, какой капитал оставил мне унтерштурмфюрер Ниманн. Не только печати, не только вальтер. Страх, годами накопленный, чужой, краденый у мёртвых страх. Зато сегодня я растрочу его весь, до последней копейки, на дело, от которого хозяина этого лица перевернуло бы в гробу.

— Гроба, впрочем, у него теперь не будет. Гроб теперь придётся заслужить мне.

План собирается из того, что есть, как всегда. Телефонный звонок в лагерь означает комиссию встречи на рампе, озверевших от накачки начальством вахманов с прикладами, ворота газовой камеры, тогда это конец. В лагере мне будет уже гораздо труднее кого-то спасти.

— Значит, звонка не будет. Значит, у эшелона по дороге появится причина остановиться. И причина такая, чтобы ни один человек в этом поезде не захотел спорить, а каждый захотел оказаться подальше и переложить ответственность на соседа. У этой конторы есть только один страх сильнее начальства, ведь я сам читал его в приказах, в циркулярах, в санитарных инструкциях.

Они боялись его до дрожи, до карантинных, до сожжённых деревень. Страшная болезнь, именно та, что не различает званий и не читает удостоверений.

В дверь вдруг стучат.

Два удара, короткая пауза, третий, звучит казённо, без подобострастия, но и без панибратства.

«Унтер просится зайти к офицеру по делам службы?»

Я сажусь к столу, вполборота, раскладываю перед собой бумаги, потому что человек с бумагами всегда выглядит на месте. Даже позволяю голосу быть хриплым со сна:

— Да.

Входит унтершарфюрер лет сорока, плотный, красное лицо человека, дружащего со шнапсом, на груди значок за ранение.

«Грот, надо полагать, спасибо папке, познакомились заочно», — бросаю я на него мимо-летный взгляд.

Он вскидывает руку, я отвечаю движением ладони от виска, уже экономным, немного даже брезгливым. Я подобную отмашку видел на сотне трофейных плёнок, у них у всех к третьему году войны нацистское приветствие стёрлось до подобного короткого жеста.

Грот докладывает: узловую прошли, семафор дали без задержки, в голове состава спокойно.

Дальше он произносит фразу, ради которой мне стоило умереть в музее:

— Через сорок минут будем на месте, герр унтерштурмфюрер. Прикажете телефони-ровать в лагерь с разъезда, чтобы готовили приём?

«Готовили прием? Заливали солярку в танковые дизеля? Сорок минут».

Второй человек во мне уже стоит у карты. Сорок минут — вот вся моя фора, отпущенная историей. Между этой банкеткой и лагерной рампой, между двумя тысячами мёртвых по расписанию и двумя тысячами живых вопреки ему.

Поднимаю глаза на Грота и говорю спокойно, скучно, как говорят о погоде люди, уставшие от чужой безалаберности:

— Отставить телефонировать. Сначала доложите мне, — пауза ровно такой длины, чтобы у него вспотела спина, — почему я узнаю последним, что в четвёртом вагоне тиф.

Надо отдать Гроту должное, он не переспрашивает с глупым видом — «какой тиф?». Он делает полшага назад, от меня, от окна, от четвёртого вагона сразу всем плотным телом, раньше всякой мысли, лицо его из красного мгновенно становится серым.

Тиф в транспорте — это строжайший карантин, это рапорты в три инстанции, это санитарный офицер, который будет копаться в его журналах. И самое главное, это вошь, которая не спрашивает номера партийного билета.

— Герр унтерштурмфюрер, я... при погрузке медицинский осмотр не...

— При погрузке? — я аккуратно, с заметной ненавистью ко всему остальному миру выравниваю стопку бумаг. — В Минске в июле сыпняк шёл по лагерям военнопленных волной, об этом писали в сводках, которые вы, разумеется, читали. Сегодня на перегоне мои люди слышали из четвёртого вагона характерный бред.

Ввернуть про своих людей будет очень кстати, ведь они должны у меня быть. То есть просто назначены мной.

— Если через сорок минут я подведу заражённый транспорт к рампе и поставлю под угрозу персонал зондеркоманды, писать объяснение в Люблин будем вдвоём. Хотите вдвоём, Грот?

Он не хочет. Очень не хочет, подобное видно по всему, по кадыку, по пальцам, нашедшим шов на галифе, по глазам, которые уже ищут, на кого данную беду можно переложить. Но не находят, конечно, ведь кругом ночь, под нами перегон, далекое начальство спит, а герр комендант вот он, не спит, смотрит спокойно и явно оценивающе. Но Грот быстро соображает, в конце концов, он старый служака, не он тут самый главный, есть кому отдать правильный приказ.

— Приказания, герр унтерштурмфюрер?

— Состав к рампе не подавать, — говорю медленно, прямо надиктовываю.

Пусть запоминает, пусть потом повторит слово в слово, мне нужно, чтобы повторил слово в слово.

— Перед лагерной веткой есть запасный путь у лесного разъезда. Остановка там. Оцепление по обе стороны полотна, к вагонам ближе двадцати метров не подходить, четвёртый вагон не вскрывать до моего личного распоряжения. В лагерь не телефонировать, до окончания санитарного осмотра о транспорте не знает никто. Это вопрос карантинной инструкции, отвечаю по нему именно я, как начальник эшелона. Старших постов ко мне с ведомостью через десять минут. Вопросы, Грот?

— Никак нет!

— Выполнять.

Дверь закрывается. Слушаю, как его сапоги уходят по коридору быстрее, чем пришли. Все же страх отличное топливо, жаль, нештатное, несколько секунд сижу неподвижно, глядя на чёрную штору.

За шторой, за стенками, за сорок минут отсюда стоит на насыпи лагерь, которого через три недели не должно быть. В вагоне за тамбуром едет человек, с которым я пил чай через двадцать девять лет. В зеркале тамбура живёт лицо, которому сегодня предстоит совершить единственный порядочный поступок за всю его служебную биографию.

Правда, совершить под моим чутким руководством и без всякого его согласия.

Состав вскоре тормозит, вздрагивает, лязгает сцепками, значит, машинист уже принял семафор на запасный путь.

Начали.

Глава 2

Разъезд называется по-польски, как-то слишком длинно, поэтому не называется никак.

Три пути, будка стрелочника с тёмным окном, штабель шпал, уборная и лес с обеих сторон, сосна вперемешку с ольхой. Стоит сплошной стеной, в двадцати шагах от полотна уже ночь без дна. Состав втягивается на запасный путь, шипит, лязгает от головы к хвосту, как остывающий зверь, и постепенно останавливается.

Тишина после долгой дороги оглушает, в ней сразу становятся слышны вагоны.

Не стук теперь, одни только голоса. Приглушённые, слитные, из-за дощатых стен, где-то плачет ребёнок, тонко и на одной ноте, где-то бормочет старик. Еще по всей длине состава ходит общий шелестящий звук, который делают две тысячи человек, когда внимательно прислушиваются. Они поняли, что мы почему-то стоим не на станции. Они везли себя в надежде до последнего перегона, где должны хоть как-то покормить и дать воды, измученные двухдневным переездом в страшной тесноте. Только глухой лес за стенами в подобные надежды никак не входит.

«Потерпите, — говорю я им беззвучно, застёгивая шинель. — Один час. Дайте мне час».

Схожу из вагона на насыпь, гравий хрустко подаётся под сапогом. Самый первый звук, который я произвожу на здешней земле в новой роли. Ночь стоит холодная, без ветра, над лесом висит обглоданный месяц. От паровоза тянет горячим маслом и мокрой окалиной, пар из-под цилиндров ползёт вдоль колёс, стелется по гравию, как дым от ладана на отпевании. По всей длине состава прыгивают конвойные, разминают ноги, кашляют, тут же вспыхивают в ладонях спички. Начинается обычная станционная возня, только никакой станции нет, есть только лес, и лес этот смотрит на нас со всех сторон миллионом чёрных стволов.

Грот подбегает с докладом раньше, чем я успеваю сделать десять шагов.

— Состав остановлен согласно распоряжению герра унтерштурмфюрера, охрана по местам, происшествий нет!

Докладывает он образцово, ест глазами, по одышке слышно, что бежал от самого хвоста. Служака, хороший служака, старательный, такие вернее всего стерегут и такие же вернее всего губят всё, что стерегут. Потому что старательность без ума — это просто скорость, с которой человек делает чужую ошибку.

«Но и про мой приказ не забыл вернуть, чтобы слышали все, что не он приказал остановить состав, — усмехаюсь я про себя. — Скоро тебе, Грот, станет вообще не до подобной ерунды!»

— Хорошо, — говорю я, не глядя на него, глядя на лес. Начальству иногда положено смотреть вдаль с умным видом.

— Освещение не разводите. Костров не жечь. С этой минуты, обершарфюрер, здесь карантинная зона, и всё, что в ней происходит, происходит по моей команде. Вопросы задавать можно, даже нужно. Понимаете, почему, обершарфюрер?

Обершарфюрер отрицательно мотает головой, молча ест меня глазами, пропитываясь мудростью начальства.

— Не задавший вопроса дурак опаснее задавшего, — любезно объясняю я ему.

— Никак нет... то есть так точно... — Он сбивается, потеет.

Прекрасно, сбитый с толку человек держится за приказы, как пьяный за забор. Не потому, что верит и понимает, а потому, что больше не за что держаться.

Первым делом — будка стрелочника. Иду вдоль полотна неторопливо, заложив руки за спину, начальство осматривает объект, начальству спешить вообще не положено. Стрелочника нет, глухая смена, значит, ему повезло, телефонный аппарат на стене есть. Снимаю трубку, но линия вполне живая, трубка вопросительно гудит. Достая из ножен личный эсэсовский кинжал

Ниманна, аккуратно, у самого ввода, срезаю провод и укладываю конец так, что в темноте обрыв не найдёт и связист.

«Авария на линии уже случилась. Война, проводам тоже тяжело».

Теперь снова арифметика.

По ведомости, которую принёс Грот, при эшелоне двадцать один человек: он сам, четверо немцев конвойной команды и шестнадцать вахманов. Плюс паровозная бригада, машинист с кочегаром из рейхсбанна, люди подневольные, в счёт огня не идут. Пулемёт один, на тормозной площадке в хвосте. Двадцать один ствол на почти две тысячи запертых, безоружных, измученных дорогой людей.

«Обычно этого хватает, вот что самое страшное в их нечеловечески продуманной системе — этого всегда хватало. Значит, к моменту, когда откроется первая дверь, двадцати одного здесь быть не должно», — решаю я.

Развожу их, как разводят подсудимых, поодиночке и по делу, чтобы каждый приказ звучал скучной служебной необходимостью.

Первым загружаю наряд на переезд. Старшим туда назначаю пожилого роттенфюрера с лицом сельского почтальона, такие не геройствуют и не думают, такие только исполняют. Шестерых вахманов ему, инструктаж на две минуты ровным голосом:

— Оцепить, никого не пропускать, особо следить за лесом — в районе отмечены банды! А, банды, роттенфюрер, работают ночью и по оцеплению бьют первым делом!

Он бледнеет ровно настолько, насколько мне нужно. Зато напуганный человек смотрит в темноту перед собой и не оглядывается на состав за спиной. Шестеро уходят по шпалам, фонарь их долго прыгает между рельсами, пока не растворяется, триста метров, самая дальняя ссылка сегодняшней ночи.

Дальше хвост состава, только тут работа тоньше, потому что в хвосте пулемёт, а пулемёт — единственная вещь на этом разъезде, которую я по-настоящему боюсь. Расчётом командует молодой шарфюрер с розовым, явно не воевавшим лицом, явно из тех счастливицов, кто в конвойные части попал по протекции, но очень подобным тяготится, ведь ему хочется настоящей службы в боевых частях.

Даю ему настоящую:

— Банды, шарфюрер, если ударят, то из леса, со стороны хвоста, где насыпь ниже. Здесь будет главное направление, поэтому держать его я могу доверить только пулемёту. Вы согласны?

Он согласен, он счастлив, впервые за войну его железка назначена главной. Он утаскивает пулемёт за хвост состава с такой гордостью, что мне на секунду делается его жаль. На секунду, не дольше, я хорошо помню, чей это поезд.

Четверых вахманов выдаю ему в оцепление, лицом в лес. У хвоста состава тифа нет, поэтому туда уходят охотно.

Двоих немцев — к паровозу, стеречь бригаду и следить, чтобы машинист сдуру не стравил пар:

— Возможно, придётся срочно уходить в карантинный тупик!

— Ещё двоих вахманов за водой к будке, с котелками.

Выбираю самых молодых, почти мальчишек, вечно голодных, эти будут греметь котелками у колонки долго и вдумчиво, потому что у воды можно покурить без начальства.

— Санитарная обработка потребует воды. Много воды!

Фельдшера при конвое нет и слава богу, фельдшер мне тут нужен, как прокурор на имениях.

Стою у служебного вагона и смотрю, как расползаются по темноте фонари — два к переезду, два за хвост, огонёк у паровоза, огонёк у будки. Пять минут назад двадцать один ствол

стоял кучей вдоль состава. Теперь они разведены по местам, где каждый видит свой кусок ночи и не видит остальных.

Теперь связывает их всех только один человек. Я сам, унтерштурмфюрер Ниманн.

Грота оставляю при себе. Во-первых, старший конвоя должен присутствовать при вскрытии — такой в конвойной службе положенный порядок. Во-вторых, пусть будет там, где я его хорошо вижу.

С ним остаются всего трое, немец-ефрейтор с автоматом и овчаркой, двое вахманов с карабинами. Четыре ствола у вагона, шесть — в пределах двух минут бега. Хуже, чем хотелось бы, но гораздо лучше, чем было до развода. Только больше разгонять уже нельзя, и так стволов слишком мало для того, что я собираюсь сделать.

— Который вагон с военнопленными? — спрашиваю я, глядя в ведомость, хотя ответ знаю из бумаг наизусть.

— Второй от хвоста, герр унтерштурмфюрер, — тут же докладывает Грот.

— Осмотр начнём с него.

Грот недоуменно моргает. В его картине мира тиф живёт в четвёртом вагоне, а не во втором от хвоста, поэтому начальственная логика делает у него на глазах сильно непонятную петлю. Я даю ему секунду помучиться, но все же объясняю, пусть раздражённо, через губу, как объясняют бестолковым:

— Пленные — солдаты. Половина прошла через лагерные эпидемии, у них глаз на сыпняк лучше, чем у любого нашего фельдшера. И явно лучше, чем у вас со мной вместе. Выделю из них рабочую команду для осмотра и обработки состава. Или вы предпочитаете лично войти в четвёртый вагон, Грот?

Грот никак не предпочитает. Грот смотрит на меня с огромной любовью, ведь начальство только что придумало, как сделать работу чужими руками. Самая родная, понятная, любимая мысль всякого конвоя на всех войнах человечества.

Идём вдоль состава. Сапоги по гравию, фонарь в руке ефрейтора выхватывает стыки, скобы, пломбы, номера мелом. Из щелей все время смотрят. Я никого сам не вижу, только чувствую, полосы темноты между досками живые, когда луч скользит по стене, темнота отшатывается. У пятого вагона на меня из щели смотрит глаз, всего один, на уровне моей груди, явно детский. Иду дальше, шаг у меня не сбивается, у этого тела отличные, послушные, тренированные ноги.

«Гроб придётся заслужить, — напоминаю я себе. — Работай, Руднев!»

Второй от хвоста. Пломба, засов, надпись мелом про численность, сорок восемь человек.

У этой двери я стою три секунды дольше, чем положено занятому офицеру, но надеюсь, что в темноте этого не видно. Мел на доске полустёрт дождями, цифру писали ещё в Минске, торопливо, с нажимом, крошка мела так и осталась в щели. Изнутри вагон молчит, но не спит, я слышу само молчание, оно плотное, дышащее, в сорок восемь пар лёгких. Они слышали шаги, фонарь, немецкую речь у своей двери и сделали то, что делают солдаты в плену, замерли и приготowiлись. К чему угодно приготowiлись. Грот рядом прикладывает к носу платок, тифозная легенда все-таки работает и на него. Сам смотрит на дверь с брезгливым страхом человека, который два года возит смерть, но до сих пор боится к ней прикоснуться.

Киваю ефрейтору:

— Вскрыть!

Лязг засова прокатывается по всему составу, состав сразу отвечает, шевелится, гудит изнутри, две тысячи человек слышат первую открывшуюся дверь.

Дверь с шумом уходит в сторону.

Из проёма плотно и тяжело выкатывается дух, в нем — пот, моча, карболка, дорога, на меня смотрят люди. Стоят вплотную, стеной, шурятся от фонаря, лица серые, скулы обтянуты, у переднего запёкшаяся ссадина через бровь.

Рядом с ним стоит пожилой, со старшинской повадкой, усы в седину, руки сложены на груди так, как складывают их люди, которым связывали руки и которые такое запомнили. Дальше совсем молодой, уши в коростах обморожения ещё с прошлой зимы. Но глаза у молодого горят таким чистым, беспримесным ожиданием драки, что старшина, даже не оборачиваясь, кладёт ему ладонь на грудь, мол, тихо пока, сынок.

Военная выправка не пропивается, как профессия, даже сейчас, после долгого плена и эшелона, они стоят не толпой. Стоят строем, старшие впереди, глаза у передних не испуганные. Только считающие, они считают нас, четыре ствола, офицер, овчарка, расстояние до кромки леса.

«Правильные глаза, с такими работать можно сразу», — понимаю я.

— Печерский, — говорю я негромко, по-русски, сразу слышу, как за спиной перестаёт дышать Грот, для которого эти звуки просто фамилия, названная эсэсовцем. — Александр Аронович. Ко мне.

Стена людей не двигается, но она мгновенно меняется, по ней проходит ток. Передние на четверть оборота смещаются, смыкаются, я понимаю — сейчас они его закрывают. Услышали имя из уст эсэсовца и тут же закрыли своего.

«Хорошие мужики, господа, какие же хорошие мужики».

— Осмотр состава! — продолжаю я скучным голосом, уже по-немецки, для Грота и ефрейтора. — Мне нужен старший рабочей команды! Грамотный старший команды, который хорошо понимает по-немецки!

И снова по-русски, тихо, только в темноту проёма:

— Саша. Из Ростова. Выходи. Времени нет совсем.

Он выходит сам, раздвигает своих ладонью, его пропускают так, как пропускают командира, с готовностью и с ненавистью к тому, куда он идёт. Я узнаю его сразу, хотя между этой ночью и нашим чаем ещё лежат двадцать девять лет и одна моя смерть. Сухое лицо, спокойные руки, взгляд, который берёт меня, форму, кобуру, фонарь, Грота — всё разом, одним движением, как объектив.

Семь секунд он смотрит на меня и все же решает, что я только провокатор.

Это правильно, это единственно правильное решение в его положении, если бы он решил иначе, я бы в нём разочаровался. Эсэсовец, говорящий по-русски и знающий твою фамилию, тогда просто спектакль перед ямой, так у них делалось, он про подобное знает лучше меня. Я вижу, как он выбирает одно из двух — умереть молча или успеть достать меня руками. Только достать в прыжке, про убить или ранить надежды нет.

На восьмой секунде я делаю то, чего провокатор не делает.

Разворачиваюсь к ефрейтору и приказываю:

— Рабочей команде — выйти! Построиться вдоль вагона! Конвою — отойти на пять шагов, не мешать осмотру! Овчарку пока заткнуть!

А сам, пропуская мимо себя первых спрыгивающих на гравий пленных, встаю к Печерскому вплотную, спиной к своим, говорю ему в лицо, тихо и очень быстро, по-военному:

— У вагона четверо, офицер — я, но я — свой. Грот с автоматом, ефрейтор с автоматом справа, двое с карабинами у двери. Шестеро в трёхстах метрах впереди на переезде, четверо и пулемёт за хвостом, двое у паровоза, двое у будки с котелками, всего двадцать один ствол при пулемете, но телефон уже обрезан. До лагеря смерти восемь километров, там нас ждут к рассвету, убивать евреев начнут сразу. По восемьсот человек за один раз.

Потом пауза в полвдоха:

— Я передам тебе пистолет. Начинаете, когда я сниму фуражку. Сначала эти четверо, потом паровоз. Пулемёт мой.

Он молчит. Люди спрыгивают на насыпь, строятся медленно, растягивая время, выигрывая мне и себе секунды. Они всё поняли раньше слов, по одному тому, что эсэсовский офицер стоит слишком близко и говорит слишком тихо.

— Кто ты? — спрашивает Печерский.

— Долго, — говорю я. — А что, есть из чего выбирать?

Не знаю, что решает дело, сама фраза, которую он скажет мне через двадцать девять лет. Или простой подсчёт, который он закончил раньше, после моих слов про лагерь смерти и первую партию смертников из этого эшелона.

«Терять нечего, вагон всё равно едет в один конец».

Он коротко опускает веки, теперь всё, наш договор подписан.

Дальше дело техники. Я громко, прямо заметно брезгливо приказываю «старшему рабочей команды» следовать за мной к четвёртому вагону для доклада о признаках болезни. Беру его рукой в перчатке за плечо, конвой пока видит привычную картину, офицер грубо тащит пленного. По дороге, в четыре движения, которые отрабатывают на особом факультете до автоматизма, вальтер уходит из моей кобуры под его лохмотья. Кобуру застёгиваю обратным движением, пустая застёгнутая кобура врёт не хуже полной.

У четвёртого вагона всё готовится само, ефрейтор с автоматом отстал на свои пять шагов и держит строй пленных, вахманы у двери смотрят на строй, Грот смотрит на меня. Я смотрю на часы Ниманна — хорошие часы, швейцарские, явно ворованные. И мысленно раскладываю ближайшую минуту по секундам, как раскладывал всю жизнь чужие алиби.

Странная вещь, эти последние секунды перед делом. Время в них не летит, а густеет. Я слышу всё разом и по отдельности, как переступает по гравию строй, сорок пар разбитой обуви. Как ефрейтор, все же нервничая, сдвигает автомат с плеча на грудь и обратно, подтягивает поближе к себе собаку. Как далеко в голове состава дышит паровоз, как у будки, ничего не подозревая, гремят котелками мои водоносы. Пленные стоят и не смотрят на меня, смотрят мимо, в лес, в темноту, куда положено смотреть уставшим людям. Только по тому, как разобраны их руки и развёрнуты плечи, мне видно, что строй уже заряжен будущим столкновением. Каждый знает своего немца. Печерский разобрал цели одними глазами, пока шёл, я даже не заметил, когда именно.

Где-то в лесу, нехстати и навсегда, кричит сова.

Снимаю фуражку и задумчиво провожу ладонью по волосам.

Дальше время перестаёт идти ровно, оно всегда так делает в бою, просто рвётся, как плохая киноплёнка. Печерский стреляет из-под тряпья, не вынимая руки, ефрейтор ещё стоит, а автомат уже падает отдельно от него. Овчарка тонко визжит, получив вторую пулю, значит, никто ее не будет резать ножом. Строй пленных не бросается, просто обрушивается молча, без «ура». Это сорок человек, которым нечего терять, подобное молчание страшнее любого крика. Вахмана у двери снимаю я сам ладонью в кадык, бью коленом в пах, добираю рукоятью его же карабина. Новое тело делает все подобное чисто, быстро, со вкусом. Где-то на заднем плане я успеваю отметить, что Ниманн, гадина, регулярно занимался спортом.

— Грот?

Вот Грот оказывается быстрее, чем положено человеку его комплекции. Он даже не пытается стрелять, он бежит, наклонясь, как только можно низко, вдоль вагонов к хвосту, к пулемёту, ещё орёт на бегу одно слово, самое опасное слово этой ночи:

— Alarm! Alarm! Alarm! Alarm! Alarm!

Я вскидываю карабин, ловлю на мушку его спину между лопаток, но тут на спуске меня толкают. Не знаю кто, просто свои, пленные, волна, поэтому пуля уходит в доски. Зато Грот тут же ловко ныряет под вагон.

— Пулемёт! — ору я Печерскому по-русски, уже больше не играя никого. — Хвост состава!

Поздно.

От хвоста бьёт очередь, слишком длинная, неумелая, веером. Пулемётчик лупит в темноту, в сторону шума, темнота отвечает ему страшным криком. Пули идут по вагонам, по доскам, за которыми стоят плотную живые люди. Крик из вагонов, вот что я буду слышать потом ночами, а не выстрелы. Выстрелы звучат, как просто выстрелы.

Мы бежим на пулемёт втроём — я, Печерский и высокий пленный со ссадиной через бровь, у которого в руках уже карабин второго вахмана. Бежим не по полотну, только под вагонами, через сцепки, ныряя под стрелу огня. Сейчас тело Ниманна работает, как хорошая машина, я успеваю подумать, что впервые в жизни его мускулы заняты нужным делом. Расчёт замечает нас с десяти шагов. Первый номер разворачивает ствол и не успевает, пленный со ссадиной стреляет с колена, навскидку, а я понимаю, что этот человек до плена не в обозе служил.

Второго номера беру я, не буду даже описывать как, просто и быстро.

Пулемёт наш, с этой секунды ночь ломается в обратную, в нашу сторону.

Шестеро с переезда бегут на выстрелы прямо по полотну, кучей, на готовый пулемёт, о котором думают, что он свой. Печерский подпускает их на сотню метров и открывает огонь. Четверо падают, остальные ссыпаются с насыпи в лес. Бежать в лес я им разрешаю, в лесу ночью они не бойцы, а грибки. У паровоза короткая злая возня, туда убежала половина рабочей команды, когда мы добегает, всё кончено. Двое немцев лежат, машинист с помощником стоят на коленях на угле, подняв чёрные ладони и повторяют по-польски одно слово, которое я понимаю без словаря.

— Живи, — говорю ему. — Ты нам нужен живым, пан машинист, ты у нас теперь самый ценный человек на этом полотне!

Часы Ниманна показывают, что с фуражки прошло всего шесть минут.

После боя всегда наступает минута, которой нет ни в одном наставлении, минута звона. Стрельба уже кончилась, а уши ещё не верят, люди стоят и дышат, пар от сорока разгорячённых тел поднимается над насыпью, как над банной каменкой. Потом минута кончается, мир возвращается по частям, стон нашего раненого у третьего вагона, лязг — кто-то уже деловито собирает оружие убитых, проверяя затворы. Голос Печерского, негромкий и оттого слышный всем:

— Оружие — ко мне, к будке, в одно место, посты — на переезд и за хвост, немедленно, вместо их постов.

Никто не празднует. Некому объяснять, что рано, эти люди знают про «рано» больше любого устава.

Я иду вдоль состава считать своих мёртвых, ещё чужих, работа есть работа. У тормозной площадки задерживаюсь над молодым шарфюрером, которому полчаса назад подарил «главное направление». Он так его и держал, главное направление, лицом в лес, до последней секунды не понимая, что война пришла у него из-за спины, из запёртого вагона, который он вёз.

«Жаль ли мне его? Спросите, что полегче. Мне восемьдесят шесть лет, из них сорок я читал протоколы. Я навсегда разучился жалеть конвой и научился жалеть время, потраченное на жалость к конвою».

Потом открывают вагоны, вот про такое надо честно.

Я представлял себе такую минуту, пока шёл вдоль состава, что-то вроде света и воздуха, двери настёжь, свобода.

В реальной жизни выходит иначе. Двери отъезжают одна за другой, лязг катится по составу, но из вагонов не выходят. Из них выдавливаются, выпадают, выносят друг друга, люди щурятся, держатся за створки, за чужие плечи, многие не понимают по-русски, многие не понимают уже ни на каком языке. Женщина в хорошем пальто ходит вдоль насыпи и всем подряд показывает фотографию. Старик становится на колени у полотна и раскачивается. В седьмом

вагоне остаётся сидеть человек, просто сидит в глубине, на полу, среди узлов, и не выходит. К нему лезут, тянут за рукав, он мотает головой, он не верит открытой двери, открытая дверь в его жизненном опыте — хуже закрытой. Переубедить его словами сможет только время, которого ни у кого нет. Его выносят на руках вместе с его недоверием. По насыпи от будки уже идёт цепочка с котелками, самое важное сейчас, вода передаётся из рук в руки вдоль всего состава. Звяканье дужек об эмаль на ближайший час становится главным звуком ночи, важнее любых команд. Ребёнок, тот самый, я почему-то уверен, что тот самый, из щели пятого вагона, стоит у колеса и смотрит не на лес, не на людей, только на меня.

На мою форму. Я отхожу к будке, в тень. В этой форме сейчас нельзя стоять на свету, не потому, что очень опасно. Потому что нельзя.

У четвёртого вагона, где никакого тифа, разумеется, нет, а есть теснота, жажда и двое умерших ещё в дороге, уже работает Печерский. Вот теперь видно, что он такое, не оратор, не герой с плаката, просто хороший организатор. Негромкий голос, короткие фразы, пленные уже стоят цепью, уже разбирают людей по вагонам на десятки, уже несут воду от будки в тех самых котелках, которые я выписал вахманам под санитарную обработку.

Порядок создан из хаоса, за сорок минут, без единого лишнего слова. Я смотрю на его работу с чистым профессиональным удовольствием, как смотрят на чужой красивый почерк.

Теперь считают потери. Одиннадцать убитых очередью через стены и в давке, десятка два раненых. Из наших убито трое и трое ранено, отличный результат для этой ночи.

«Все же я неплохо разогнал конвой, иначе бы потери были в разы больше».

Одиннадцать? Я гоняю данную цифру по кругу и заставляю себя поставить рядом другую, ту самую, что была в расписании — почти две тысячи уже к полудню. Эти одиннадцать тоже входят в две тысячи. Арифметика — вредная привычка, но сегодня она явно на моей стороне. От такого легче не становится, но становится тише.

Первым в тень будки приходит не он, приходит высокий, со ссадиной через бровь, тот, что снял пулемётчика с колена навскидку. Приходит правильно, с карабином наперевес, не один, с двумя своими за плечами, еще встаёт так, чтобы будка отрезала мне отход.

«Грамотно встаёт. Явно кадровый», — понимаю я.

— Оружие на землю, — говорит он.

Спокойно говорит, без ненависти даже, просто по-хозяйски, как говорят человеку, чья очередь подошла.

— Медленно.

Кладу карабин к ногам. Спорить с ним нечем, да и незачем, на его месте я поступил бы ровно так же, только еще раньше.

— Капитан Зорин! — окликает от состава Печерский, не повышая голоса.

— Он эсэсовец, лейтенант! — Зорин не оборачивается, смотрит мне в переносицу. — Что он тут устроил и зачем — разберёмся после. А пока я не понимаю одного, почему он до сих пор живой, и меня это, честно скажу, беспокоит.

— Расстрелять всегда успеем! — говорит Печерский. — Успеем, капитан. Сначала пусть выведет людей.

Зорин думает. Думает он основательно, секунд пять, глядя на меня так, как смотрят на подозрительную накладную. Потом опускает ствол, не убирает, именно опускает на ладонь, пока только в долг. Потом произносит фразу, которую, я чувствую, мне предстоит слушать до конца этой войны:

— Живи пока, — и уже уходя, через плечо: — Но очередь твоя не пропала. Очередь твоя за мной.

Печерский находит меня в тени будки сам. Подходит, встаёт рядом, не глядя, мы оба смотрим на состав, на людей, на костерок, который кто-то уже развёл у штабеля шпал вопреки всякой маскировке, но гасить его ни у него, ни у меня не поднимается рука.

— Спрашивать, кто ты, надо полагать, без толку, — говорит он.

— Пока — да, — соглашаюсь я. — Ни к чему вообще. Мундир я не сниму, так надо. Приставь ко мне двоих своих.

Он кивает, не соглашаясь, а пока откладывая, я вижу разницу, данный вопрос у него никуда не денется, он просто убрал в вещмешок до лучших времён. Некоторое время стоим молча. У костерка кто-то из освобождённых заводит вполголоса песню — не нашу и не здешнюю, старую, тягучую. Но её тут же, на втором такте, гасят соседи, тихо ты, лес кругом. Печерский слушает оборванный такт с таким лицом, что я решаюсь на вопрос сам:

— Твои — из какого лагеря?

— Минск, лесной лагерь, — отвечает он ровно. — Кадровые, почти все с сорок первого в плену.

— Возили нас, — он усмехается без веселья, — как особо ценный груз, отдельный вагон, пересчёт дважды в день. Немцы народ хозяйственный, зря ничего не возят. Мы всю дорогу гадали, на какую работу. Теперь понимаю, что работа предполагалась короткая.

— А остальной эшелон?

— Гражданские. Минское гетто, кого ещё не... — он не договаривает, и не надо. — Старики, женщины, дети. Мы их через стенку слышали двое суток.

— Знаешь, что самое тяжёлое в плену, командир? Не голод. Слышать через стенку детей и сидеть смирно, — он поворачивается. — Поэтому не спрашивай, почему я тебе поверил за семь секунд. Я не тебе поверил, я поверил, что хуже, чем по имеющему для нас всех расписанию, уже не будет.

— Хорошо, что поверил. Пока эти люди спасены. Сейчас бы уже задыхались в газовой камере, — благодарю его я.

— Тогда говорим по делу, — он поворачивается, я вижу, что решение у него уже готово, он пришёл не советоваться, а распределять работу. — Здесь почти две тысячи людей. Треть никуда не дойдёт и до утра, потому что старики, дети и больные. Идти им некуда, есть просто нечего, оружия — всего двадцать стволов с ограниченным боекомплектom. Правда, есть пулемет и к нему шесть сотен патронов. К рассвету нас хватятся из лагеря, к полудню здесь будет всё, что у них есть в округе. Ты знаешь местность, ты знал мою фамилию, ты знал про пулемёт.

Я киваю головой, что все знал.

— Значит, знаешь, что делать дальше. Говори.

И я говорю, потому что знаю. Полтора часа назад, в купе, листая бумаги Ниманна, я нашёл среди накладных документ, от которого у меня, старого архивного грызуна, дрогнуло сердце. Требование на довольствие, станция снабжения, шесть километров по этой самой ветке. Там есть склад. Продовольствие, вещевое имущество, аптечный пункт, гарнизон — двадцатка тыловиков при одном обер-фельдфебеле.

— В шести километрах отсюда — немецкий склад, — говорю я. — Хлеб, консервы, шинели, медикаменты. Охрана — двадцать человек писарской команды. К рассвету он должен быть наш, брать его будем красиво. Я подъеду туда с эшелоном и приму объект под карантин, а ты войдёшь с тыла и объяснишь гарнизону новую санитарную обстановку.

Печерский смотрит на меня долго. Потом впервые за эту ночь у него шевелится угол рта. Не улыбка ещё, но уже черновик улыбки.

— Из чего выбирать, — говорит он. — Теперь есть из чего. Хотя бы накормим всех еще один раз досыта. И на двадцать фашистов станет меньше.

— На двадцать уже стало меньше, пусть не все они были немцами, — напоминаю ему я.

— У нас трое пленных. Что с ними делать? — еще вопрос, который меня немного удивляет.

— Прощать нельзя, перевоспитывать нет смысла, отпускать тоже. Если украинцы, которые «травники», тех повесить. Лучше бы на длинной веревке, но времени нет. Если нет —

просто на колени и пулю в затылок, — подумав, отвечаю я. — И всем на грудь бумагу, что исполняли преступные приказы нацистских преступников.

— Хорошо, так будет правильно, — соглашается Печерский. — Только бумаги нет.

— У меня есть. Я напишу и повешу, — обещаю ему.

И уходит распоряжаться, а я смотрю ему в спину, впервые понимаю по-настоящему, что я наделал этой ночью. В моей истории этот человек за три недели поднял восстание в аду с шестью сотнями измученных людей, изнутри проволоки, без единого шанса. Я украл у него те три недели. Взамен я, сам того не планируя, выдал ему задачу, за которую не взялся бы ни один штаб. Провести две тысячи гражданских, стариков, женщин, детей, больных через оккупированную страну, через облавы, через наступающую зиму, провести туда, где их примут и спрячут.

Восстание пока длится всего один час. Это спасение будет длиться месяцы. Историки, если доживём, пусть сами решают, какой из двух подвигов больше. Я для себя уже решил.

За спиной у нас, у всего состава, кто-то из бывших пленных вслух пересчитывает трофейное оружие. Но тут второй человек во мне, который не отдыхает никогда, дёргает меня за рукав и заставляет проделать собственную арифметику. По ведомости при эшелоне двадцать один. Считаю, как учили, по местам, у вагона легли трое, ефрейтор и двое вахманов, расчёт у пулемёта — двое, у паровоза — двое; на переезде — двое, ещё четверо из хвостового сцепления, выбежавшие на выстрелы прямо под собственный трофейный пулемёт. Тринадцать убитых. Сдались трое, двое молодых с котелками у будки и один с переезда, бросивший карабин раньше, чем его о том попросили. Четверо ушли в лес на восток — их видели. Тринадцать, трое, четверо, всего двадцать. Машинист с кочегаром не в счёт.

Двадцать один по ведомости, но всего двадцать по счёту.

Ищу глазами по насыпи, по теням, по вагонным чёрным проёмам и не нахожу того, кого недосчитался первым, ещё до всякой арифметики, просто по холоду между лопаток.

Среди убитых нет Грота. И в лес на восток уходили четверо, а он нырнул под вагон на запад.

Если на запад — тогда это к лагерю.

Глава 3

К четырём утра разъезд перестаёт быть полем боя и становится просто огромным табором.

Костерки всё-таки горят, три штуки малым огнём, в ямах по всем правилам, кто-то из бывших пленных поставил подобное дело грамотно. Над ними греют воду и что-то заваривают, у будки перевязывают раненых при двух уцелевших фонарях, еще по всей длине состава идёт негромкая, ровная человеческая работа. Поровну делят хлеб из конвойного запаса, ищут своих по вагонам, называют фамилии в темноту, темнота иногда отвечает. Холод к утру набирает силу, от людей идёт пар, именно такой пар самое первое, что у них появилось общего со свободой, дыхание, которое теперь видно.

Военный совет мы держим у паровоза, только держим его больше на слух. Потому что свет фонаря не слишком яркий — я, Печерский, Зорин и карта из планшета Ниманна, разложенная на горячем железе будки машиниста.

— Станция снабжения, шесть километров дальше по этой же ветке, — веду я пальцем по карте. — Совсем тыловой объект, там есть пакагузы с продовольствием, две штуки, рампа, аптечный пункт, вещевой склад. По требованию на довольствие, которое я нашёл в бумагах, гарнизон двадцать два человека писарско-караульной команды при одном обер-фельдфебеле. Пулемётов по ведомости нет, собак есть две штуки. Есть телефон, вот данный телефон нам нужен живым и невредимым, но еще никому не позвонившим о захвате склада. Это единственная причина, почему мы не можем просто подойти и попросить. Поэтому придется маскироваться по-прежнему под настоящих нацистов.

— А как можем? — спрашивает Печерский.

— Можем красиво, — я разглаживаю карту ладонью. — Туда сейчас подойдёт эшелон под парами, из эшелона выйдет заместитель коменданта Собибора и объявит объект под тифозным карантинном. Пока гарнизон будет переваривать настолько большую радость, ваши люди войдут с тыла, через лес, снимут караулку. Стрелять, только если совсем никак, потому что выстрел утром в лесу слышно за пять километров. А у нас на западе недобитый обершарфюрер идёт пешком в сторону лагеря и очень хочет успеть первым.

— Дойдёт часа за два, — прикидывает Зорин. — Лесом, ночью, без дороги — может все же за три доберется. Он с полуночи бежит. Но может все же серьезно заплутать.

— Вот именно. Поэтому грузимся и едем сейчас, пока их не предупредили.

Зорин смотрит на карту, потом на меня, сейчас я уже узнаю его выражение на лице, он старательно ищет, где я вру. Но не находит и от этого начинает мне ещё меньше доверять.

«Правильный мужик, такого бы мне в отдел лет тридцать назад, цены бы не было нам обоим. Но и сейчас здорово пригодится, хоть ни в какую не доверяет мне».

Собираемся быстро, в наших сборах я впервые вижу, из чего сделаны люди, с которыми мне предстоит воевать. Трофейную форму вахманов, десять комплектов, снятых с убитых и уже казненных, Печерский раздаёт без напоминания с моей стороны. Уже сам понял, что к складу эшелон должен подойти похожим на охраняемый эшелон. Надевают её его бойцы молча. Один парень, молодой, кудрявый, держит чёрный китель на вытянутых руках, его ощутимо ведёт. Но сосед постарше забирает у него китель, выворачивает, показывает.

— Смотри, дырка от твоей же пули, штопать придется тоже тебе.

Смеются оба. Смех короткий, злой и вот теперь китель надет.

У паровоза тем временем происходит смена власти. Машиниста-поляка с кочегаром мы отпускаем в лес, лишние свидетели нам не нужны, а расстреливать совсем подневольных гражданских я не дам.

«Правда, у них жизнь теперь висит на очень тонком поводке, как их самих приговорят нацисты просто за то, что они выжили. Если сдались здесь и больше нигде на мятежников не работали, то еще могут выжить. Люди с железной дороги нужны нацистам, особенно если они много месяцев управляли подобным эшелоном и ничего не имели против. Если перегонят состав к складу, наверняка, тогда сами пойдут в лагерь или на виселицу за сотрудничество с врагами рейха», — так мне сейчас кажется.

«Мы теперь — мятежники, если именно для нацистского государства и его порядка обожание! — усмехаюсь я. — Подняли мятеж на территории Третьего Тысячелетнего Рейха, как она сейчас считается, против законной власти! Осталось Тысячелетнему Рейху меньше двух лет гнить и разлагаться, но нацистская машина не хочет ничего подобного знать».

Печерский тут со мной без слов заодно, но паровоз без бригады мёртв. Я уже прикидываю, кого учить держать пар, когда из освобождённых выходит мужик лет под пятьдесят, крижистый, с руками в несмываемой угольной синеве. Обходит машину кругом, трогает дышло, заглядывает в будку, потом произносит с интонацией врача у постели запущенного больного:

— Довели машину, ироды. Сироту довели.

Фамилия его Савельев, тридцать лет на магистрали, депо Гомель. В плен попал под Оршей с санитарной летучкой, которую вёл под бомбами, пока было куда вести. Про свое прошлое он рассказывает не мне и не сейчас, все такое я узнаю уже позже. По небольшому кусочку, как узнаётся у подобных людей всё личное. Сейчас он делает то, что делает мастер, попавший к запущенной машине, осматривает ее, щупает, слушает, залезает под брюхо с лампой.

Потом выбирается чернее прежнего и оглашает диагноз с интонацией врачебного консилиума:

— Буксы греты, магистраль травит, зольник забит. А в остальном, командир, машина честная, довезёт, куда скажешь, если с ней по-человечески!

Через десять минут он уже гоняет двух добровольцев на работе с углём, разговаривает с инжектором на «ты» и на меня смотрит без всякого страха. Не потому, что храбрый, а потому, что человеку у топки просто не до формы собеседника.

«У топки все равны, такое знание, — подозреваю я про него, — самое главное, что Савельев вынес из тридцати лет на магистрали и двух лет плена. Поэтому беру его на заметку, второй человек во мне, который никогда не спит, уже завёл на Савельева карточку.

Почти две тысячи человек в вагоны не возвращаются, потому что отправить их обратно в нутро подобных вагонов нет сил ни у кого. Печерский выводит их пешим порядком, лесной дорогой вдоль ветки. Шесть километров для здоровых час с небольшим хода, для этой колонны два-два с половиной, поэтому склад к их приходу должен стоять открытым.

Смотреть, как строится подобная колонна — отдельная наука. Печерский не командует, он только расставляет крепких по краям, слабых в середину, раненых на две подводы, найденные при разъезде. Детей отправляет к женщинам, но не к своим матерям, а вперемешку, чтобы у каждой женщины был чужой ребёнок и каждая шла как чья-то мать.

«Я бы до такого не додумался. Я умею прятать двоих, троих, умею вести одного через три границы, а он умеет вести две тысячи. И делает это так, как Савельев трогает паровоз, руками, которые знают», — понимаю я.

Смотрю на формирующуюся постепенно колонну и думаю о вещи, которую никогда не скажу ему вслух.

«Армии отступают с меньшим порядком», — признаю самому себе.

Через много лет, в другой моей жизни, я читал про исходы и марши всё, что написано. Но не помню ни одного случая, чтобы один человек без штаба, без какого-то тыла и без правильной карты уводил от скорой смерти две тысячи чужих людей.

«Теперь буду всегда помнить», — говорю сам себе.

С нашим эшелоном едут сорок бойцов в двух вагонах, больше вагонов не нужно. Просто рабочая команда при санитарном транспорте, если смотреть с ramпы. И пока те же двадцать стволов, если смотреть изнутри вагонов.

Я уже запихал двоим повешенным и одному расстрелянному вахманам листы белой бумаги за грудь. Которые на правильном немецком гласят, что здесь казнены бандиты, выполнявшие приказы временной преступной власти.

«Так будет с каждым нацистом и их пособниками! — успел еще добавить внизу и усмехнулся. — Пусть почитают про себя настоящую правду, когда их все-таки найдут и опознают. Ведь ни формы, ни оружия у них больше нет. А то все всегда жалобно твердят, что только выполняли приказ. Вот и ответили за чужие приказы своими жизнями».

Как вешали «травников» я не видел, а вот одинокий выстрел запомнил, сделали люди Печерского всю процедуру именно по моим словам.

«Хорошо, что к подобным предложениям внимательно прислушиваются. Казнить — не миловать!» — хорошо понятно мне.

Перед отправлением я делаю ещё одну вещь, о которой не говорю никому. Захожу обратно в служебное купе, сажусь к столу и пишу почерком Ниманна, с правильным наклоном, с завитком в заглавных, короткий рапорт на бланке.

«Транспорт остановлен на разъезде по подозрению на сыпной тиф. Вагон номер четыре изолирован. Санитарная обработка начата, связь с разъездом нарушена обрывом линии».

Дата, подпись. Рапорт этот может никогда никому не понадобится. Но может купит нам лишний час — ведь правильно составленная бумага в стране нацистов работает дольше и серьезнее любого пороха.

Эшелон трогается. За окном купе плывёт рассветный лес, серый, в ключьях тумана по низинам, на подножках вагонов стоят люди в чёрной чужой форме с русскими лицами.

Смотрю на них и думаю:

«Где-то на этой картинке заканчивается спасательная операция и начинается что-то совсем другое, чему я пока даже не придумал названия».

Шесть километров, всего двадцать минут малым ходом, каждая из этих минут длится по-своему. На третьем километре полотно пересекает грунтовка, у переезда уже стоит подвода, при ней крестьянин в бараньей шапке, мальчишка при нём, воз хвороста. Они провожают наш куций состав глазами, видят — эсэсовский офицер в окне, чёрная форма на подножках, тогда крестьянин медленно, не отводя взгляда, снимает шапку.

«Не нам кланяется, — понимаю я. — Поезду с людьми. Здешние люди знают, какие поезда ходят по этой ветке и куда, поэтому кланяются им, как кланяются похоронам. Мальчишка шапку не снимает, смотрит волчком, этот запомнит».

«Пусть запомнит, сегодняшний день здешним мальчишкам ещё рассказывать внукам. Хорошо бы к тому времени в рассказе появился хороший конец, которого пока нет», — решаю я.

На пятом километре Зорин, стоящий у окна напротив, произносит первую за утро фразу не по делу:

— Странная штука, командир. Еду брать немецкий склад с настоящим эсэсовцем во главе и волнуюсь меньше, чем перед школьной инспекцией. К чему бы это?

— К тому, что инспекцию ты обмануть не мог, — говорю я. — А здесь вполне можешь, особенно со мной во главе.

Он думает, потом кивает, заносит себе что-то в книгу, но короткое, только в одну строку, я не спрашиваю, что именно.

Станция снабжения выглядит именно так, как выглядит всякий тыл всякой армии мира. Два длинных пакгауза с рампой, водокачка, барак казармы, домик канцелярии под черепицей, поленница дров, уложенная с такой любовью, с какой здесь не уложено больше ничего. И часо-

вой у шлагбаума, который при виде подходящего эшелона сначала долго смотрит, потом долго думает и только потом начинает будить разводящего.

Война отсюда еще далеко. Война отсюда — накладные, ревизии и страх перед комиссией. Комиссия к ним и приехала.

Часовой у шлагбаума разглядывает подходящий состав долго и по частям. Сначала паровоз, потом мою фуражку в окне, потом чёрные фигуры на подножках. Тогда на его лице, довольно юном и простодушном, как страница устава, сменяются по очереди скука, недоумение, пока, наконец, не проявляется служебное рвение. Которое включается у таких молодых парней с опозданием, зато на полную громкость. Он кричит в сторону казармы «Вахе!» петушиным от старания голосом, роняет и подхватывает винтовку, потом тянет шлагбаум наверх так, что перекладина дрожит.

Война отсюда действительно пока далеко, такое очень хорошо видно.

Схожу на рампу первым, фуражка по глазам, портфель в руке, за спиной двое «вахманов»: Зорин и ещё один из кадровых с лицом человека, которому всё равно, кого изображать. Обер-фельдфебель выкатывается из канцелярии на ходу застёгиваясь, лет пятидесяти, поперёк себя шире, с водянистыми глазами хронического учётчика. Зато докладывает так старательно, что у него запотевают лоб.

Я даю ему договорить. Потом произношу слово «Fleckfieber», дальше можно почти не работать.

Сыпной тиф в шести километрах, транспорт остановлен, объект переводится в карантинную зону, приказом коменданта зондеркоманды здесь развёртывается санитарный пункт обработки. Личному составу — сдать оружие в караулку и не покидать казарму до окончания дезинфекции.

— Вошь, обер-фельдфебель, не разбирает званий, а у меня нет людей возить ваших писарей в тифозный барак. Рабочая команда при транспорте проверена и обработана. Вопросы?

Вопрос у него один, но он делает ему честь, именно как учётчику:

— Герр унтерштурмфюрер, выдача имущества со склада... мне необходимо основание. Форма отчётности...

«Святой человек, — усмехаюсь я про себя. — На таких мир держится».

Вокруг него рушится мир, из вагонов выгружаются сорок человек с нехорошими глазами, а он стоит на рампе и держит оборону единственной крепости, которая у него есть, отчётности по документам. Открываю портфель, достаю бланк с орлом и пишу, не сходя с места, положив бумагу на портфель:

«Изъятие продовольственного, вещевого и медицинского имущества для нужд санитарной обработки транспорта — согласно карантинной инструкции. Унтерштурмфюрер Ниманн».

Внизу число и аккуратная подпись с завитком.

Здесь расписка за весь склад. Первый документ в биографии Иоганна Ниманна, под которым я готов подписаться даже своим именем. Караулку тем временем берут так тихо, что я узнаю об этом только по факту. Зорин просто выходит из-за угла канцелярии и показывает мне издали раскрытую ладонь.

«Пять пальцев, всё готово. Ни одного выстрела».

Подробности он докладывает потом, скупно и с учительской точностью, из подробностей складывается картина, за которую я готов простить этому складу его существование. Караул из шести человек взят в момент пересменки, когда четверо пили эрзац в караулке, а двое перекладывали друг другу пост и жаловались на холод. Часовой у пирамиды с винтовками сдался сам, попросив только, чтобы его связали убедительно, именно на совесть.

«Явно человек думает о будущем и о том, что он скажет комиссии по расследованию. Только ведь ничего не скажет, — заранее понимаю я. — Не то здесь сейчас время и место, не те у меня подчиненные, чтобы даже пленных фашистов в живых оставлять».

Зорин связал на совесть часового и я, все же не удержавшись, поставил ему в подобном ремесле свою оценку: «удовлетворительно, вязали и лучше».

Единственное происшествие случилось, когда молодой писарь у окна канцелярии понял, что творится что-то не то. Этот потянулся не к винтовке даже, а к телефону, к рычагу тревоги, здесь полторы секунды, по докладу Зорина, решали всё. Телефон у писаря Зорин отобрал вместе с частью здоровья, но без большой крови.

Потом, уже связанного, зачем-то спросил по-немецки:

— Домой писал вчера-сегодня?

Писарь ошалело кивнул.

— Вот и хорошо, — сказал Зорин уже мне по-русски. — Значит, письмо дойдёт раньше похоронки.

И посмотрел с явным интересом, как сейчас яотреагирую на будущую смерть телефониста и всей охраны склада. Только я никак не отреагировал, потому что «на войне, как на войне».

«Каждый убитый немец и вахман приближают нашу победу. Счет пока спасенных вырос сразу в огромную цифру, а вот счет убитых взамен врагов растет довольно медленно. Но оставлять за собой живых врагов мы себе позволить не можем. Думаю, мои и Печерского люди даже не сомневаются, какая участь ждет пока пленников. Если мы не слишком долго протянем, все равно нужно, чтобы за каждого своего мы прибрали несколько фашистов и коллаборантов. Тогда и помирать как-то веселее», — все заранее понимаю я.

Гарнизон склада сидит в казарме без оружия, смотрит в окна и, кажется, до конца не понимает, произошло с ними что-то страшное или все же пронесло. Люди Печерского стоят теперь уже все с оружием вокруг казармы, занимают наблюдательные посты на вышках и чердаке казармы. Там у нас приготовлен пулемет, если вдруг откуда-то так быстро появятся каратели.

К восьми утра из казармы через связного-писаря поступает нижайшая просьба разрешить завтрак по распорядку, полевая кухня во дворе, повар готов. Сразу разрешаю, но приказываю готовить на столько людей, сколько есть у него места в котле и посуды.

— Пусть поедят в последний раз! — подтверждает мой приказ Зорин, стоящий рядом. — Здесь на всех хватит!

Через час по двору плывёт потрясающий запах настоящего горохового супа, во дворе возникает картина, которую не придумал бы ни один сочинитель. Немецкий повар в белом колпаке, под присмотром двух бывших пленных с карабинами, разливает суп сначала в котелки охране склада, выбегающей по одному из ворот казармы.

Потом, по моему распоряжению и к полному параличу его арийской картины мира уже всем, кто подходит с посудой. Подходят робко, потом смелее, потом очередь. Повар черпает и не смотрит никому в глаза, ему, судя по окаменевшему лицу, проще было бы застрелиться, но черпак у него тяжёлый, рука хорошо занята, а оружие теперь в чужих руках.

Пронесло их или нет — гарнизон так и не решил. Пока пронесло, дальше видно будет, надеются они, судя по напряженным лицам.

Телефон в канцелярии я забираю себе. Сажусь за стол обер-фельдфебеля, между чернильницей и фотографией фюрера, которую разбиваю одним ударом кинжала. Кладу трубку поудобнее и жду звонка, который обязательно будет.

Где-то в восьми километрах отсюда стоит голодный до чужих жизней лагерь, который ещё с утра захочет узнать, куда делись его законные две тысячи человек.

Пока наша колонна в пути, мы успеваем сделать ещё одно дело, о важности которого я пока догадываюсь только чутьём. У эшелона идёт разбор новых трофеев, оружие в одно место, выдается под счёт, форма и снаряжение убитых конвойных — в другое. Печерский перед выходом распорядился коротко:

— Форму не жечь, всё чистить, всё беречь.

А я поймал тогда его взгляд и понял, что мы подумали об одном. Чёрное сукно формы вахманов — наши будущие пропуска. Это будущие посты, будущие проверки, будущие чужие ворота, которые открываются перед этим сукном сами. Двое немолодых освобожденных, явно из портных, уже сидят на ящиках у пакгауза и спорю, привычно работают иглами и руками. Тут же выводят пятна, штопают дыры от пуль, и то, как буднично они подобное делают, говорит о них больше любых биографий.

«Этим рукам приходилось чинить и не такое», — вижу я.

А потом подходит основная колонна, я быстро выхожу на рампу следом за Зориным, чтобы посмотреть, ради чего всё случилось сегодня ночью.

Она вливается в ворота склада долго, половину часа, смотреть на подобное трудно, но обязательно нужно.

Серая, шаркающая, перевязанная река людей, подводы с ранеными, дети на руках. Но по мере того, как головные видят распахнутые пакгаузы, по реке от головы к хвосту идёт волна, не крик, не радость даже, а просто выдох.

Общий, длинный, две тысячи лёгких разом. Я слышал за две жизни много звуков. Этот беру с собой навсегда.

«Наши нашли и захватили целый склад!» — я уже вижу, как подготовленные к смерти в газовой камере люди радуются, что у них есть свои защитники.

И эти свои сейчас реально их спасают от голода и холода. Пока не спасают от погони, но с таким большим припасом и шагать гораздо легче, и выживать тоже проще. Потому что все узники сильно ослабли за два дня в поезде без еды и воды, да и раньше досыта давно уже не ели. В таком состоянии они не смогут уйти никуда, как понимают внутри себя. Если не поедят сейчас и не будут знать, что следующие сутки тоже будут непременно сыты.

«А здесь есть все, чтобы почувствовать себя людьми!» — понимаю я радость двух тысяч недавних узников.

Ворота обоих пакгаузов раскатаны настежь, в утреннем свете сразу видно нутро. В нем мешки с мукой в человеческий рост, штабеля ящиков с тушёнкой, полки с буханками серого солдатского хлеба, бочки, кипы шинелей, связки сапог, перетянутые бечевой.

Люди входят туда медленно, как входят в церковь, первые вообще останавливаются на пороге, поэтому задним приходится осторожно их подталкивать. Женщина в хорошем пальто, та самая, с фотографией, берёт с полки буханку двумя руками и долго держит, не откусывая, у лица. Старик, который ночью раскачивался у полотна, сидит на мешке, ест тушёнку длинной щепкой и плачет молча, не мешая себе есть, слёзы просто идут отдельно от него.

Давки только нет и такое поразительно. Я готовился к давке, ведь голодная толпа у продовольствия страшнее боя, но у ворот уже стоит распорядитель, где-то найденный Печерским. Немолодой, в очках с треснувшим стеклом, из недавно освобождённых, с голосом негромким и непререкаемым, как у дежурного по вокзалу.

— Хлеб — по одной, консервы — на семью, тёплое — сначала детям и старикам, за сидорами очередь налево, не задерживаем! — повторяет он раз за разом.

На воротах пакгауза у него уже висит грифельная доска из канцелярии, на доске мелом — приход, расход, остаток.

Человек всего час, как на свободе, а уже завёл учёт трофейного имущества, зато очередь при виде подобной доски сама собой выравнивается. Потому что цифры на доске обещают, что хватит всем, а обещание, написанное мелом, отчего-то убедительнее крика.

Спрашиваю у Печерского, кто это такой. Тот пожимает плечами, сам вызвался, сказал, что до войны по снабжению работал, дело знакомое. Этот обязательно уйдёт с колонной, у Печерского в лесу подобный человек будет на вес золота.

Вот доску с мелом, отмечаю я, надо будет обязательно забрать, ведь хорошая и нужная вещь в хозяйстве, на ней удобно вести списки. Какие именно списки, я пока и сам не знаю. Но чувю, что длинные и много.

У бочки с водой, пристроив на краю осколок зеркала, бреются мужчины. Стоит очередь из пяти человек, трофейные станки, обмылок по кругу. Сам я задерживаюсь на этой картине дольше, чем положено офицеру, ведь с каждым движением бритвы из-под серой лагерной коросты выступает лицо — человеческое, разное, своё. Люди возвращают себе лица, вот как подобное сейчас называется, очередь к осколку зеркала стоит молчаливая и серьёзная, как к причастию.

Рядом немолодая женщина в учительских круглых очках, устроившись на ящике с канцелярией, уже составляет списки. Фамилия, имя, кто кого ищет, из какого вагона, подходят по одному, диктуют, она переспрашивает и выводит буквы очень старательно, страшным почерком человека, у которого замёрзли руки. Списки эти пойдут с колонной и будут читаться вслух у вечерних костров ещё много недель. Людей из гетто раскидало по вагонам, не все ещё знают, что их живые находятся всего в двухстах шагах.

У связок с сапогами сидит на ящике ребёнок из пятого вагона. Я узнаю его сразу по глазам, хотя видел от него ночью один только глаз в дощатой щели. Мальчик лет восьми, перед ним на земле выставлены сапоги, четыре пары, все не по ноге, все огромные для него. Но он методично, серьёзно, как выполняет работу, примеряет их по очереди, встаёт, делает два шага, садится, снимает, берёт следующие.

Мимо проходит кудрявый парень, тот самый, что ночью не мог надеть чёрный китель, а теперь ходит в нём почти привычно. Присаживается на корточки, роется в связке, выуживает откуда-то из середины пару поменьше, солдатские, ношенные, молча ставит перед мальчиком. Тот надевает, встаёт, смотрит на кудрявого снизу, очень серьёзно, вместо «спасибо» топает подошвой о землю, тут же на месте проверяет. Кудрявый кивает, что годится. Оба заметно довольны, разговаривать им не о чем и незачем.

В канцелярии разворачивают медпункт, раненых с разезда одиннадцать, тяжёлых четверо, врач находится тоже свой, из вагонов. Высокий, спокойный, с непроницаемым лицом, руки моет так, что сразу видна солидная операционная выучка. Реквизирует у меня весь аптечный пункт одной фразой:

— Всё, что есть, и еще кипяток.

Йод, бинты, шины из штaketника. Работает молча, с ранеными почти груб, но раненые под его руками успокаиваются быстрее, чем от любых ласковых слов. Такой врач нужен колонне больше, чем нам, ведь почти две тысячи человек уходят в леса на зиму. Отдаю ему весь аптечный склад и не жалею ни одной ампулы.

Сам я стою в стороне, у поленницы, вне яркого света.

Это не какая-то особая скромность. К воротам пакгауза я не могу подойти по той же причине, по какой ночью не мог стоять у костра, потому что моё лицо там лишнее. Люди у ворот оживают на глазах, едят, переобуваются, переодеваются, дети получают по куску рафинада и держат его в кулаке, не веря своему счастью. Но стоит кому-то из них поднять глаза и увидеть у поленницы мой чёрный силуэт с черепом на фуражке, как всё в них останавливается.

«Не могу их за такое винить, ведь их этому лицу учили лучше, чем меня — арифметике», — напоминаю я себе.

Поэтому, когда Печерский подходит ко мне сам через весь двор, у всех на виду, не спеша, я понимаю, что он делает раньше, чем он доходит. Он не поговорить о чем-то идёт, он идёт показать двум тысячам человек, что с этим силуэтом можно стоять рядом.

В руке у него банка тушёнки, вскрытая, с уже воткнутой солдатской ложкой, он сразу протягивает мне.

— Ешь. Ты сегодня заработал.

Беру без слов и ем. Стоим рядом у поленницы, два человека посреди чужой войны, едим американскую свиную тушёнку с немецкого склада. Сейчас я ловлю себя на том, что вкуснее из еды у меня в жизни было, такого даже не помню. Может даже не было. Восемьдесят шесть лет прожил, было время сравнить.

— Люди спрашивают про тебя, — говорит Печерский, глядя на ворота. — Я отвечаю, что ты наш человек в их форме. Больше не спрашивают, понимают, что не всё говорится вслух, — он какое-то время тоже ест молча, потом продолжает, не поворачивая головы:

— Один старик утром подошёл из четвёртого вагона. Просил передать тебе. Сказал так: я всю жизнь молился, чтобы бог послал ангела, а бог, видно, решил, что времена на дворе сейчас такие, что ангел не пройдёт по документам. И послал, что прошло, — Печерский скребёт ложкой по дну. — Я передаю дословно. От себя добавлять не буду, ты человек взрослый.

— Спасибо, что дословно, — отвечаю я.

— Не за что, — он поворачивается. — Но мне-то ты скажешь больше, пусть не сейчас, но когда-нибудь.

— Когда-нибудь, — соглашаюсь я. — Если доживём, все расскажу, но сразу учти, ты просто не поверишь.

— Я в запертом вагоне ехал носить трупы и потом быстро умирать, а теперь завтракаю с немецкого склада, даже оружие есть при себе с патронами, — он забирает у меня пустую банку. — У меня теперь с «не поверю» сложные отношения.

Он уходит к воротам, а я остаюсь у поленницы и смотрю на часы Ниманна. Швейцарские, ворованные, идут отлично, только показывают они сейчас неприятное. Грот бежит с полуночи, даже если он плутал, даже если садился отдыхать, даже если ночной лес трижды водил его кругами, по любой арифметике он уже должен выходить к лагерю. Дальше события покатыются без моего участия — поражающий всех слушателей доклад, явное недоверие к его словам, проверка, звонок сюда. Вопрос только в том, кто успеет первым, его язык или мой провод. Я загадал себе, если телефон промолчит до полудня, значит, Грота в лесу прибрали волки. Тогда я, так и быть, поверю в справедливое мироустройство.

Телефон звонит в четверть двенадцатого.

Ожидание у телефона отдельное ремесло, я вспоминаю его быстро, как вспоминают плавание. Нельзя быстро поднимать трубку и сидеть у аппарата, потому что начальство у аппаратов не сидит. Нельзя отходить далеко — три гудка, не больше. Нельзя занять руки ничем важным, голос человека, оторванного от важного, звучит иначе, чем голос человека, оторванного от скуки, а мне нужна настоящая скука.

Поэтому я сижу за столом обер-фельдфебеля и второй час раскладываю его же пасьянс из его же засаленных карт, найденных в ящике между уставом и фотографией толстой женщины в шляпе. Пасьянс никак не сходится, правильный пасьянс и не должен сходиться, он должен просто занимать руки.

Звонок я беру на третьем гудке.

— Станция снабжения, унтерштурмфюрер Ниманн, — говорю голосом Ниманна, скучным и утреним.

Дежурный по как бы моему лагерю. Голос молодой, службистский, аккуратный, транспорт из Минска не прибыл, комендатура запрашивает, не проходил ли состав, на линии разъезда обрыв...

Он ещё выговаривает свои формулы, а я уже понимаю главное. То, ради чего стоило сидеть у этого телефона два часа — они еще не знают.

«Значит, Грот не дошёл».

Поэтому три моих слова «унтерштурмфюрер Ниманн слушает» ложатся в разговор, как ключ в замок, дежурный на том конце ощутимо вытягивается.

Дальше я развожу его на те же самые сорок минут, что вчера эшелон вёз меня к рампе, только по проводу.

— Тиф в транспорте — да, подтверждаю, наблюдал лично. Состав изолирован на разъезде, я руковожу карантинном со станции снабжения, здесь есть связь и горячая вода. В лагерь состав не подавать до полной обработки или дежурный желает вошь в зоне первой? Санитарного офицера я запросил из Хелма. Никого не присылать, карантинная инструкция, параграф знаете сами какой. Не знаете? Тем более не присылать. Доложите в Люблин утренним рапортом, в письменном виде, копию — мне.

Дежурный записывает, слышно, как скрипит пером, очень старается, на каждый мой пункт отвечает своим «яволь» с всё большим облегчением. Ответственность за все сразу уезжает наверх, к заместителю коменданта Ниманну, любимое направление всякой ответственности на любой войне.

Под конец он даже позволяет себе рвение — не нужно ли герру унтерштурмфюреру выслать со склада роты охраны...

— Не нужно! — обрываю я. — Карантин!

Слово такое действует на него, как ведро воды на печку, поэтому он шипит и глохнет.

Он уже прощается, когда я слышу в трубке, далеко на заднем плане, хлопок двери и голос. Слов не разобрать, но интонацию я разбираю, я тридцать лет разобрал интонации из-под шороха плёнки. Сейчас кто-то вошёл в дежурку с улицы, теперь говорит загнанно и сбито, именно на каждом выдохе.

«Именно так говорит человек, который бежал и боялся всю ночь», — отчетливо понимаю я.

— Момент, герр унтерштурмфюрер, — говорит дежурный в трубку, слышно, как он прикрывает микрофон ладонью.

Ладонь у него неплотная. Сквозь неё, из восьми километров провода, до меня доходит одно слово, произнесённое голосом, который я последний раз слышал орущим «Alarm» под вагоном.

Это фамилия, уже моя, то есть — раньше его.

«Ниманн».

Потом ладонь убирается, дежурный говорит уже совсем другим голосом. Крайне вежливым, ровным, мёртвым голосом человека, которому только что стало очень страшно и который очень старается, чтобы такого страха не было слышно:

— Герр унтерштурмфюрер, прошу вас оставаться у аппарата. К вам выезжают.

— Разумеется, — говорю я тем же скучным утренним голосом Ниманна, потому что последняя реплика в таком разговоре важнее первой.

Её будут вспоминать, разбирать, докладывать по инстанции, в докладе должно стоять «говорил спокойно, тревоги не проявлял».

— Передайте, жду. Пусть захватят нашего фельдшера, у меня тут двое караульных с подозрением на сыпняк, надо бы глянуть.

И кладу трубку первым.

Это тоже ремесло, вот так класть трубку первым, спокойно, не дослушав чужого дыхания. У того, кто остался с гудками в руке, всегда чуть меньше уверенности, чем было до звонка. Грошовая фора на самом деле, но я тридцать лет собирал войну из грошовых фор.

«Пока, надо сказать, неплохо набегало».

Глава 4

Кладу трубку на рычаг аккуратно, как кладут гранату с сорванным кольцом, несколько секунд смотрю на аппарат.

«К вам выезжают».

Хорошая фраза, емкая такая. За тридцать лет службы я сам произносил её раз двести. Правда, обычно с другой стороны провода, потому знаю ей настоящую цену. Ведь между «выезжают» и «приехали» как раз лежит самое дорогое время в жизни. Время, за которое умные успевают всё, а глупые — только начать оправдываться.

Считаем, из лагеря сюда две дороги. Ветка — дрезиной полчаса, еще грунтовка через лес — грузовиком минут сорок, если мост через ручей держит грузовик, а он, судя по карте, держит еле-еле. Прежде, чем выехать, им надо собраться, вооружиться, доложить заместителю коменданта и еще переспорить карантин, который я им утром навязал по телефону. Потому что немецкая машина делает всё подобное добротнo, но совсем небыстро. Час у нас есть, полтора — будет подарок, на два я не рассчитываю, ведь подарков сегодня уже было много.

Выхожу на рампу и говорю Печерскому такие слова:

— Грот дошёл только что. Они выезжают к нам.

Дальше можно не командовать — можно смотреть, подобное зрелище дорогого стоит.

Склад сворачивается, как сворачивается цирк-шапито, быстро, слаженно и с точным знанием, что едет, а что остается. Первыми уходят подводы с ранеными и группа с детьми, им положено идти дальше всех и медленнее всех. Следом, с интервалом в четверть часа выходят вторая и третья группы, у каждой на выходе из ворот происходит одно и то же.

Люди оборачиваются, не на склад, на пакгаузы они насмотрелись. На тех, кто остаётся в следующей группе, за утро эти две тысячи уже срослись, перезнакомились, нашлись. Но теперь их снова режут по живому на колонны, на маршруты, на «встретимся у озёр». Немолодой мужчина догоняет уходящую группу, суёт мальчишке в руки свёрток, наверно, свою долю хлеба, я видел, как он его получал, и возвращается молча, не слушая, что кричат вслед. Женщина в учительских очках раздаёт старшим групп свои списки, по экземпляру, требует расписаться в получении. Расписываются серьёзно, огрызком карандаша, просто на весу.

Бумага, подпись, учёт — оказывается, не только немецкая болезнь. Это последнее, за что держится человек, когда всё остальное уже отняли. Печерский не повышает голоса, не бежит, он поворачивается к складу и начинает разбирать наведённый утром порядок так же методично, как наводил. Колонна уходит немедленно, малыми группами, тремя маршрутами на восток. Старшие групп уже назначены, у старших уже карты, вычерченные под копирку на трофейной бумаге. Я в очередной раз отмечаю: пока я просто сидел у телефона, этот человек готовил эвакуацию, не дожидаясь моего звонка. Склад раздать до нитки, всё, что сразу не получится унести, выносятся и складывается у далекой опушки несколькими ходками. Они вернутся ночью, заберут вторым рейсом те, кто пока останется в ближних лесах. Раненых — на подводы.

Гарнизону — сидеть в казарме тихо и молиться, что про них забудут, но про них не забудут.

— Двадцать фрицев — это двадцать фрицев. Мы в вагоне готовы были все на одного-двоих вахманов обменяться. А тут такой подарок — все еще живем и уже по одному фашисту на счет занесем, — напоминает Печерскому Зорин. — Не считая «травников» и прочей срани.

— Делайте, — разрешает Печерский своим людям. — Нам свидетели не нужны. Пусть у Гитлера на двадцать два солдата станет меньше. Пусть тыловых, но все равно меньше. Терять нам нечего, мы все уже списаны в расход. Если не свезет, так хоть дверью хлопнем погромче.

— Увидел фашиста — просто убей! — вдруг вспоминаю я, тут все странно смотрят на меня.

Они заходят в казарму, немцы даже не попробовали там забаррикадироваться мебелью и кроватями, убаюканные нашим спокойным отношением и отсутствием всякого лишнего насилия. Несколько минут звучат одиночные выстрелы, потом еще пара добивающих, вопрос окончательно решен. Склад остается без охраны, но остается ненадолго.

— Сжигаем? — спрашивает выходящий из казармы Зорин, кивая на пакгаузы.

— Сжигаем. Но после того, как отработает засада. Дым видно за десять километров, незачем так сильно торопить гостей, — подумав, отвечает Печерский.

— Засада, — повторяет Зорин со вкусом. — Вот это разговор. А то всё бумажки, бумажки...

Отбор мы проводим тут же, на рампе, между ящиками. Со стороны все такое, наверное, выглядит дико. У нас страшно горит время, из лагеря едет наша смерть, а посреди склада стоит очередь из добровольцев.

И настоящий эсэсовец с лейтенантом Красной армии проводят настоящее собеседование.

Печерский строг. Я думал, отбирать буду я, но нет, это его люди. Он вышел перед строем и сказал, что нужны пять человек на отдельную задачу, вернуться с которой шансов немного, рассказать о которой заранее нельзя вовсе.

— Самое главное условие одно: хороший немецкий язык. Хотя бы рабочий, хотя бы корявый, но, чтобы понимал команду и мог отозваться. Там, куда пойдёт группа, глухонемых не бывает.

После чего из строя шагнули пятьдесят четыре человека, тогда стало ясно, что отбор будет не набором, а отсевом.

Первый вопрос у нас самый простой.

— Немецкий знаешь? — спрашиваю я у широкоплечего парня с перебитым носом.

— Так точно! — Парень набирает воздух. — Хенде хох унд Гитлер капут!

— Богатый словарный запас, — соглашаюсь я. — Главное — весь по делу. Следующий.

Следующий доброволец на вопрос о немецком отвечает честно, что не знает, зато душит голыми руками.

— Показать?

Показывать не надо, верю по рукам.

Третий знает идиш и уверяет, что это почти одно и то же. Тут я его огорчаю:

— Почти — как раз то расстояние, на котором расстреливают.

Четвёртый молчит, смотрит исподлобья и на все вопросы отвечает: «разберёмся».

Этого я запоминаю для Печерского, в лесу, в партизанах человек с таким словарным запасом незаменим, а у нас от него через неделю поседет вся группа.

Отсеянные не уходят, становятся рядом и болеют за следующих, как на экзамене. Через десять минут очередь уже сама бракует своих:

— Куда ты лезешь, Мотл, ты же по-немецки только «хальт» знаешь, и то шёпотом.

Один у меня уже есть, первый в команде, еврей из Латвии, фамилия Кляйн. Говорит идеально на живом немецком, едва ли не лучше меня. Служил в латышской разведке в еще независимой Латвии, потом уже в нашей, потом попал в плен, оглушили на задании.

Смех над очередью висит короткий, лагерный, экономный. Люди смеются так, как едят после голода, осторожно, не веря, что можно.

А самое интересное происходит с отсеянными дальше, я отмечаю это краем глаза, а правильно осмысляю уже вечером. Забракованные у меня не расходятся по группам, они идут через двор, к Печерскому, и тут же записываются у него. Старшина с усами, парень с перебитым носом, который «хенде хох», тот, что душит голыми руками, все туда. Печерский принимает их без лишних слов, кивком, как принимают своих в очередь на понятное дело.

К полудню возле него стоит отдельный список — десятков пять имён, всё кадровые, всё обстрелянные. Когда я спрашиваю взглядом, он отвечает вслух, коротко:

— Ударная. Пригодится.

Куда пригодится и когда — он не говорит, я не спрашиваю. У этого необыкновенного человека, я уже понял, планы созревают молча и всходят вовремя.

«Запомните этот список, товарищ Руднев. Чутьё подсказывает — мы о нём ещё услышим».

Дальше выходит кудрявый, тот самый, что ночью не мог надеть чёрный китель, а утром подобрал мальчишке сапоги. Фамилия Клим, лётчик-истребитель, сбит в июне под Минском. В полку летал с позывным «Чиж», позывной этот прилипает к нему в команде с первого же дня, фамилию его вся команда забывает к вечеру. Немецкий школьный, зато морзянку, по его словам, принимает со слуха быстрее, чем штабная связистка, «проверьте, у кого есть ключ».

Ключа нет, но есть карандаш, я отстукиваю по ящику три фразы — берёт сразу все три, включая ту, где я нарочно сбил ритм. У нас есть радист, вполне годится. И глаза правильные, злые и весёлые одновременно, у лётчиков других не держат.

— Только учти, — говорю, — летать не будем. Мы наземная организация.

— Это временно, — отвечает Чиж с такой убеждённостью, что где-то в люфтваффе, я чувствую, уже икнули.

Савельева не отбирают Савельев ставится перед фактом. Он приходит с паровоза сам, вытирая руки ветошью, выслушивает про «отдельную задачу» и спрашивает только одно: машина едет с вами или остаётся?

— Машина едет.

Тогда и он едет, чего спрашивать, машину одну с этими, кивок в мою сторону, без уточнений, не отпустит.

— Немецкий?

— Понимаю сносно. В депо перед войной немецкие машины принимали, документацию читал, с ихним мастером-наладчиком полгода лаялся через день, так обучился.

Прошу продемонстрировать.

Савельев активно демонстрирует. После чего Печерский тут же отворачивается, чтобы сохранить командирское лицо. Потому что немецкий у Деда слишком живой и рабочий, с просто чудовищным акцентом. Поэтому режет мои правильные уши, как углём по стеклу. Еще сам словарь густо паровозный и на четверть ругательный. Но это живой немецкий, на нём можно хоть как-то выжить машинисту поезда.

«Говорить на нём в приличном обществе нельзя, конечно, так мы в приличное общество и не собираемся», — улыбаюсь я.

Пятым пунктом закрываю самое узкое место, нужен второй отличный немецкий. Кляйн один со мной не вывезет всю разговорную часть, на любой серьёзной проверке нас будут растаскивать по одному, поэтому каждый, кто останется без переводчика, утонет. Спрашиваю у строя в лоб, кто говорит по-настоящему, не только «хенде хох»? Строй молчит.

И тут Зорин, стоящий рядом со мной, а не в строю, произносит, глядя в сторону и с явным отвращением к самому себе:

— Я говорю.

Поворачиваюсь к нему, он мрачнеет ещё на тон:

— До войны преподавал. В школе, немецкий язык и литература, восемь лет стажа, — дальше пауза, тяжёлая, как признание в растрате. — Гёте читал вслух, Шиллера. Потом эти любители Гёте сожгли госпиталь с моими ранеными, я тогда решил, что разговор у нас с ними пойдёт на другом языке.

— Но грамматику, — он дёргает щекой, — грамматику, к сожалению, не забыл.

— Выговор? — спрашиваю по-немецки.

— Учительский, — отвечает он по-немецки же, выговор у него действительно учительский.

Правильный до жути, только совсем мёртвый, как из хрестоматии. Для живого унтера никак не годится, вот для имперского чиновника, для писаря, для человека при бумагах — вообще идеально. Вся канцелярия всей Германии говорит на этом мёртвом языке, который остальные немцы просто не понимают.

— Только учти, командир, я на нём восемь лет двойки ставил. Привычка могла сохраниться.

Сапёра потом приводит Зорин лично, за локоть, как ведут в милицию, по дороге они уже ругаются.

— Дугин. Сапёр от бога, — рекомендует Зорин. — В сорок первом под Оршей его группа за ночь уронила три моста. Одна беда, рот не закрывается.

— Товарищ капитан преувеличивает, — скромно возражает Дугин. — Мостов было четыре, просто четвёртый упал сам, из солидарности. Я только посмотрел на него выразительно.

— Вот об этом я и говорю, — мрачно кивает Зорин.

— Немецкий? — спрашиваю.

— Читаю без словаря, — с достоинством отвечает Дугин. — Инструкции к немецким взрывателям, наставления по подрывному делу. Самые честные тексты на этом языке, между прочим, ни слова пропаганды, всё по делу. Разговариваю хуже, признаю. Но с моей работой, командир, разговаривать обычно уже не с кем.

Беру обоих. Зорина, впрочем, я не беру, Зорин объявляет мне сам об этом отдельно, сурово глядя в переносицу.

«Он идёт со мной не потому, что верит, а потому, что не верит, хочет присутствовать лично в момент, когда я себя выдам», — понимаю я.

«Считай меня твоей совестью с карабином».

Считаю, с такой совестью, между прочим, не пропадёшь, совесть с карабином — единственная разновидность, которую в наше время внимательно слушают.

Вот и все пятеро. Стоим кружком между ящиками — разведчик в чужой шкуре, учитель немецкого с карабином вместо доверия, лётчик без неба, машинист с паровозом, сапёр с четырьмя мостами. Все с немецким, от кляйновского блеска до дедовского угля по стеклу, отряд, который я собирал под язык противника так же тщательно, как под его оружие.

Я смотрю на них, но тут второй человек во мне, старый циничный профессионал, который за жизнь научился не привязываться к агентуре, вдруг говорит мне тихо и очень серьёзно:

«А вот этих — береги. Этих береги, Руднев. Понял?»

«Понял», — отвечаю, оба мы ещё не знаем, чего будет стоить подобное «береги».

Перед тем, как объявить состав, Печерский отзывает меня за штабель ящиков на два слова, и его слова я запомню.

— Ты понимаешь, что я сейчас делаю, — говорит он. Не спрашивает. — Я тебе не пятирх бойцов отдаю. Я тебе отдаю лучшее, что вышло из того вагона. Зорин один стоит роты. Мальчишка-лётчик — таких на фронте берегут больше самолётов. И я их отдаю человеку, у которого не знаю ни имени, ни звания, ни задачи.

Он смотрит мне в глаза спокойно и страшно:

— Так вот, чтоб между нами было ясно, я их тебе не отдаю. Я тебе их доверяю. Разницу объяснить?

— Не надо.

— Надо, — говорит он. — Отданное списывают. Доверенное — возвращают. Я приду за ними после войны, командир. За каждым. Живым или за именем, но обязательно приду. Веди их так, чтобы было, что вернуть.

Кляйн приходит шестым к пятерым, опоздав на собственное зачисление, потому что его все остальное время не было на складе. Я с рассвета держал его у переезда, именно в чёрной форме, наблюдателем. Он возвращается уже бегом, четко докладывает, зато доклад его стоит всей утренней идиллии:

— Дрезина на ветке, рельсы звучат. И за ней пыль по грунтовке — машина, может, две. Минут двадцать у нас, командир.

Докладывает он, между прочим, по-немецки, от бега сбившись не на родной, а на немецкий. Еще выговор у него такой, что мне на секунду делается не по себе. Проверяю тут же, не отходя, беглым огнём — звание, часть, куда следуете, почему унтер-офицер потный, где ваш зольдбух. Он не отвечает, он прямо огрызается мгновенно, в правильном тоне, с той точно отмеренной наглостью младшего чина, у которого бумаги в порядке и потому совесть чиста. Бегал по распоряжению герра унтерштурмфюрера, зольдбух предъявляется патрулю, а не каждому встречному. Если герру офицеру угодно — вот, пожалуйста, только руки я бы на его месте вытер.

Потом пауза, просто ждёт. Играет немца даже в паузе — подбородком, скукой в глазах, всем корпусом.

Рига, довоенная немецкая гимназия, пять лет в разведотделах армий разных стран. Единственный из пятерых, кому чёрная форма впору не только в плечах, а просто впору. Глядя, как легко она на нём сидит, я делаю в его карточке первую пометку не о навыках. Слишком легко сидит, придется присматривать.

— По местам, — говорю я. — Принимаем гостей.

Гостей мы принимаем по науке, наука эта довольно старая. Поэтому встречают не там, где удобно обороняться, а там, где гость уже расслабился.

Позиции занимаем за десять минут до расчётного времени, эти десять минут самый первый экзамен группы, о котором она не знает. Лежать в осеннем ельнике неподвижно — работа не для всякого, ведь холод идёт снизу, через час человек начинает неизбежно шевелиться, через полтора — кашлять. Мои лежат, как надо. Чиж рядом со мной дышит в воротник — уже научен, лётчиков учат беречь тепло. Дед устроился вообще по-хозяйски, подстелив невесть откуда взявшийся кусок войлока, тут же застыл, как умеют застывать только старые охотники и старые машинисты. Сеня у разобранного стыка последний раз проверяет своё хозяйство и затихает с лицом человека, у которого всё готово и который от этого почти несчастен. Зорин лежит через двух от меня, но я спиной чувствую — он смотрит не на дорогу. Смотрит на меня, проверяет, как я лежу.

«Ну-ну, капитан. Полежим, посмотрим друг на друга», — усмехаюсь я.

Дрезину слышно за две минуты до того, как становится видно. Дизель на этой ветке один, звук его Дед опознаёт раньше всех, показав на пальцах: она, родимая, идёт ходко.

Переезд перед складом дрезина проходит достаточно настороженно. Тут же сбрасывает ход, с неё смотрят в четыре бинокля, вахманы на платформе держат оружие наизготовку. Грот рассказал им достаточно, чтобы не верить ни тифу, ни тишине. Но за переездом до ramпы триста метров чистого, скучного, простреливаемого... им кажется — простреливаемого ИМИ пространства. Вот на этих трёхстах метрах дрезина делает то, что делает всякий, кто миновал опасное место, выдыхает и прибавляет ход.

Стык, разобранный Дугиным за двадцать минут до того — «не подрыв, командир, зачем нам шум, мы люди культурные», — берёт её на скорости. Дрезина клюёт носом, сходит с полотна и ложится набок очень аккуратно, почти бережно ссылая пассажиров под откос, где их уже ждут. Огонь мы открываем раньше, чем они понимают, что упали не по своей вине.

Зорина я на всю жизнь запоминаю по этой минуте. Он лежит от меня в трёх шагах, за шпалами, и стреляет так, как, наверное, ставил свои двойки, вообще без злости, без колебания

и без права на пересдачу. Один выстрел — один результат, а глаза уже ведут следующего. Восемь лет человек учил детей чужому языку, зато стрелять его выучила война за два года.

«Плохой из такого выходит вывод о человечестве», — поэтому я его делать не буду.

Всё заканчивается в минуту с небольшим. Грузовик, идущий грунтовкой, слышит стрельбу, останавливается на опушке, и тут же пятится назад. Значит, старший в кабине оказывается человеком разумным, а мы разумных сегодня отпускаем. Пусть везёт в лагерь новость и страх, зато страх поедет быстрее грузовика.

Зато потом от перевёрнутой дрезины доносится голос, голос этот я узнаю раньше, чем вижу лицо.

Это все тот же Грот.

Живой, помятый, с рассечённой бровью, с вывернутой в падении рукой, но все же живой. Судьба, у которой странное чувство юмора, провезла его ночью, сильно плутая, восемь километров лесом, чтобы утром привезти обратно к нам, на той самой дрезине, которой он показывал дорогу. Проводником поехал, очень старательный человек, одну и ту же работу готов делать в обе стороны.

Он выбирается из-под опрокинутой платформы на четвереньках, поднимает голову и видит над собой не эсэсовскую облаву, а лица. Те самые лица, которые он двое суток вёз в запертых вагонах, которым не давал воды на остановках, по которым его пулемётчик бил через доски. Люди из его эшелона стоят вокруг него молча, кольцом, молчание это плотнее любого конвоя.

Надо отдать ему должное дважды за сутки, ведь соображает он быстро. Взгляд его пробегаёт по кольцу, находит меня, единственную родную форму, единственную соломинку, и он тут же начинает говорить. По-немецки, торопливо, глотая окончания — он выполнял приказ, он маленький человек, он знает расположение постов в лагере, графики смен, он ползёт, он может, он готов...

— Мне — не надо! — говорю я по-русски, делаю шаг назад из кольца, оставляя наедине с трибуналом.

Это всё, что от меня требуется в ближайшие минуты, просто шаг назад. Суд не мной над ним поставлен и не мне его вести.

Зорин выходит в круг неторопливо, на ходу расстёгивая нагрудный карман, достаёт оттуда трофейный ежедневник в клеёночной обложке. Я вижу эту книжицу впервые и ещё не знаю, что мне предстоит видеть её до конца войны. Он раскрывает на заложенной странице, находит строку.

— Обершарфюрер Грот, — читает он ровно по-немецки, как читают ведомость. — Старший конвоя. Вагон номер девять, где я ехал. Восемнадцатого — не дал воды на станции, женщина умерла к вечеру. Девятнадцатого — стрелял по стенам за стук.

— Сегодня ночью привёл пулемёт в действие по запертому составу. Убил одиннадцать человек, — он поднимает глаза. — Я ничего не пропустил? Может, добавишь? У тебя одного тут право голоса на добавление.

Грот неотрывно смотрит на книжицу. На простую записную книжку с карандашной строкой, вот теперь, впервые за двое суток, я вижу на его лице настоящий страх. Не тот страх, что перед тифом, и не тот, что перед начальством. Немец до мозга костей уже понял, что попал не под расправу, попал под беспощадный учёт.

Никто не кричит. Никто не бьёт его ногами, хотя право на это выстрадано у каждого в кольце. Двое бывших пленных ставят его на колени у откоса так буднично, как ставят мешок картошки. Зорин, послунив карандаш, проводит в книжице одну черту.

— Уплачено, — говорит он.

Выстрел получается короче слова.

Кольцо стоит ещё с полминуты, никто не уходит первым, словно у этой минуты есть свой регламент, который все знают без слов. Потом старшина с усами, тот, который из вагона, что осаживал молодого ладонью, надевает шапку, которую, оказывается, держал в руках, говорит негромко, ни к кому не обращаясь:

— Отмучили. Пошли, ребята, дела стоят.

И кольцо расходится молча, без разговоров, по лицам не скажешь, что людям стало легче. Ведь по таким счетам легче не становится, но походка у них заметно меняется, так ходят люди, у которых за спиной стало на один долг меньше.

Они судили и молча вынесли приговор, сказанного оказалось достаточно для смертной казни.

Зорин убирает книжицу в карман, застёгивает клапан, разглаживает его ладонью и проходит мимо меня, не взглянув. Суд занял меньше времени, чем переключка грехов. Приговор был короче суда. Больше об обершарфюрере Гроде в этой книге не будет ни слова. И подобное, если вдуматься, худшее, что можно сделать с человеком, который так старался быть замеченным начальством.

Среди убитых с дрезины валяется обершарфюрер из лагерной комендатуры. В полевой сумке у него то, ради чего стоило разбирать стык — копия утренней телеграммы из Собибора в Люблин. Читаю её стоя, у откоса, читаю дважды.

Транспорт номер такой-то захвачен неустановленной группой. Заместитель коменданта унтерштурмфюрер Ниманн предположительно убит либо действует под принуждением, либо, даже подчёркнуто, кем-то заменён. Запрошены розыскные мероприятия и следователь управления имперской безопасности.

«Вот так, получается ни дня не проработал спокойно, чтобы меня не заподозрили в том, что я это не он», — неприятно удивляюсь сам.

«Заменён» — это гrotовский утренний доклад, его личное впечатление и слово. Слово, надо признать, очень точное, недооценил я покойного обершарфюрера. У страха глаза не только велики, но иногда и зорки. Доклад свой он сделать успел, телеграмма ушла в Люблин раньше, чем дрезина вышла к нам. Значит, уже сегодня там ляжет на чей-то стол бумага про эшелон, который внезапно исчез, и про эсэсовца, заместителя коменданта Собибора, который как-то очень не тот оказался, каким был раньше.

«Стол этот пока безымянный, обязательно познакомимся с его хозяином», — надеюсь я.

Прощаемся у опушки, очень коротко, потому что длинно нельзя. Ведь склад уже горит, Дугин поджёт с четырёх углов и смотрит на дело рук своих с лицом художника на вернисаже. За спиной у Печерского строятся последние группы уходящих в неизвестность.

В одной из групп, во втором ряду, стоит мальчик из пятого вагона в своих ношенных солдатских сапогах, с сидором через плечо, взрослый, как все здешние дети. Он находит меня глазами через весь двор, ведь такое несложно, чёрная форма ищется взглядом сама. Несколько секунд смотрит, серьёзно, без страха уже и без благодарности, а так, как смотрят, когда хотят запомнить. Потом поднимает руку, не машет, просто поднимает, ладонью ко мне, и я поднимаю свою в ответ.

Колонна трогается, он уходит в лес спиной вперёд, не отводя глаз, пока его не разворачивает за плечо женщина, которой его выдали как своего.

«Запоминай, брат. И я тебя запомню. Мы теперь друг у друга вместо фотокарточки.»

— Канал связи, — говорит Печерский. — Через две недели мои люди будут у озёр, отряд Батки Стася про нас будет предупреждён. Слово для связного я тебе сказал, второе слово — ты мне. Живой останешься — найдёшь.

— Найду, — и, помолчав, добавляю: — Двести километров лесами. Две тысячи человек, треть — не ходоки. Зима через месяц. Ты понимаешь, что берёшь на себя?

— Понимаю, что оставляю, если не возьму. Они пока ничего такого не ждут, — отвечает он, на этом военный совет по данному вопросу закрыт навсегда.

Он смотрит мимо меня на пятерых у эшелона, на чёрную форму, в которую они уже одеты. Сейчас я вижу, как ему физически трудно оставлять этих пятерых мне. Не потому, что не доверяет теперь, после ночи и склада, а потому, что командир так устроен. Своих всегда отдавать больно, даже в хорошие руки, а мои руки хорошими назвать у него пока не поворачивается язык.

— Сбереги их, — говорит он наконец-то же самое слово, которое утром сказал мне второй человек внутри. — Они мне живыми нравятся.

— Александр Аронович, — отвечаю я, — я тебе больше скажу, мне тоже живыми нравятся.

Он усмехается второй раз за сутки, уже прогресс, идёт прощаться с пятёркой. Прощание это стоит посмотреть, каждому он говорит своё, вполголоса, я слышу только обрывки.

Чижу — что-то, от чего мальчишка вспыхивает и становится на пять лет старше. Деду — про машину, Дед степенно кивает, как кивают равному. Сене — короткое, после чего оба усмеваются одинаково криво. Кляйну он не говорит ничего — просто держит руку дольше положенного и смотрит. И Кляйн, великий артист, впервые на моей памяти не знает, что играть, потому стоит просто человеком. Зорину — последнему и дольше всех, зато последнюю фразу я слышу целиком, потому что Печерский произносит её, уже отвернувшись, через плечо:

— Книгу свою веди честно, капитан. По обе стороны веди.

И тут же уходит в лес, больше не оборачиваясь, во главе своей двухтысячной армии стариков, женщин и детей. Смотрю ему вслед и думаю, истории было угодно, чтобы этот человек три недели готовил восстание в аду. Я украл у истории эти три недели, значит, теперь я должен ей адом больше.

— Командир? — Савельев уже висит на подножке, сирота-паровоз под ним дышит и держит пар. — Ехать бы пора. Горим красиво, сейчас на огонёк вся округа соберётся.

Тут же едем, полотно за хвостом эшелона Дугин рвёт уже по-настоящему, с шумом — «а вот теперь можно, теперь для дела». Рельсы встают дыбом за нашей спиной, отрезая ветку на Собибор. Шесть человек, один паровоз, три вагона, сорок километров до узловой станции, где нас впервые спросят, кто мы такие.

Ответа на данный вопрос у нас пока нет. Зато есть сорок километров, чтобы его придумать.

Первый час едем молча, не потому, что нечего сказать, а потому, что за сутки в каждом накопилось столько, что начини говорить, не остановишься. Только останавливаться придётся неизбежно, впереди узловая.

Я сижу в служебном купе над трофейными бумагами и слушаю поезд. У поезда, оказывается, есть вечерний быт, быт этот завёлся сам, без приказа, за один-единственный перегон. Где-то в паровозе Дед вполголоса объясняет Чижу устройство инжектора, и Чиж, лётчик, слушает про паровозные потроха с уважением человека, для которого любой механизм — родня. Сеня перебирает и раскладывает по ветоши трофейный инструмент, по звяканью слышно, что раскладывает не в первый и не в последний раз, такое у него вместо чётков. Кляйн отглаживает на весу чей-то китель и негромко, пока только для себя, проговаривает немецкие фразы с разными интонациями, примеряя завтрашние роли, как примеряют шляпы. Зорин сидит напротив меня, долго пишет в книжку, целую страницу, не меньше. Потом закрывает её, перетягивает резинкой и произносит первую за час фразу:

— Странное дело, командир. Четырнадцать часов назад я ехал в запёртом вагоне и знал про свою жизнь всё наперед. Теперь еду в командирском купе, но не знаю ничего, — он устранивается к стенке, надвигает пилотку на глаза и договаривает уже из-под неё: — И вот, что характерно, так значительно лучше.

Через минуту он спит солдатским мгновенным сном, который именно про запас. А я сижу над бумагами до самой узловой и коплю грошовые форы, маршруты, номера, фамилии, порядки. Завтра нам рожать легенду, послезавтра — уже жить в ней.

Ничего, товарищи. Прожили же я — восемьдесят шесть лет, а Ниманн — тридцать. Средняя продолжительность выходит вполне подходящая.

Глава 5

Уважаемые читатели, простите, но «Поезд в Собибор» пока уходит в черновики.

Пятая глава уже находится в работе, но именно во время её написания у нас возникли споры о том, насколько жестокими могут и должны быть действия главных героев. Мы по-разному видим эту границу, а от неё зависят дальнейший сюжет, атмосфера и общая концепция книги.

Поэтому мы решили взять паузу, всё спокойно обсудить и немного пересобирать историю. Продолжать публикацию просто ради графика не хочется. Для нас важнее вернуться с версией, которой мы оба будем довольны.

Мы не прощаемся с этой историей и обязательно к ней вернёмся, но пока не будем называть конкретных сроков.

Спасибо всем, кто начал читать, ставил лайки, оставлял комментарии и ждал продолжения. Нам действительно неловко прерывать публикацию на четвёртой главе. Надеемся, вы нас поймёте.

Иннокентий Белов и Грей Ковач

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.